С.М. Соловьев
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ТОМ ПЕРВЫЙ

Annotation

В предлагаемое вниманию читателей трехтомное собрание сочинений великого русского историка С.М.Соловьева (1820–1879) вошли либо не переиздававшиеся после их первого выхода в свет произведения автора, либо те его труды, число переизданий которых за последние сто лет таково, что они все равно остаются неизвестны массовой аудитории.

Подбирая материалы к трехтомнику, составители, прежде всего, стремились как можно более полно (разумеется, с учетом компактности данного издания) представить взгляды С.М.Соловьева на различные проблемы истории России, начиная с эпохи Киевской Руси и заканчивая царствованием императора Александра I. При этом, по возможности, соблюдался хронологический принцип распределения подобранного материала первого, второго и третьего томов. Исследовательским работам С.М.Соловьева предпосланы его автобиографические записки, позволяющие читателю взглянуть на личность великого историка его собственными глазами. Издание снабжено комментариями и открывается вступительной статьей,

содержащей краткую характеристику научного наследия С.М.Соловьева.

- С. М. Соловьев
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
- notes
  - 1
  - 2

С. М. Соловьев
Мои записки для детей моих, а если можно, и для других

I
«В трудах от юности моей…»

5-го мая 1820 года, в одиннадцать часов пополудни, накануне Вознесения, у священника московского коммерческого училища родился сын Сергей, слабый, хворый недоносок, который целую неделю не открывал глаз и не кричал. — Помню я тесную, плохо меблированную квартиру отца моего, в нижнем этаже, выходившую на большой двор училища, где в послеобеденное время и вечером гуляли воспитанники. Самыми близкими и любимыми существами для меня в раннем детстве были — старая бабушка и нянька. Последняя, думаю, имела немалое влияние на образование моего характера. Эта женщина (т. е. старая девушка), сколько я помню сам и как мне рассказывали другие, обладала прекрасным, чистым характером: она была сильно набожна, но эта набожность не придавала ее характеру ничего сурового; она сохраняла постоянно общительность, веселость, желание занять, повеселить других, больших и малых. Несколько раз, не менее трех, путешествовала она в Соловецкий монастырь и столько же раз в Киев, и рассказы об этих путешествиях составляли для меня высочайшее наслаждение; если я и родился со склонностью к занятиям историческим и географическим, то постоянные рассказы старой няни о хождениях, о любопытных дальних местах, о любопытных приключениях не могли не развить врожденной в ребенке склонности. Как теперь помню эти вечера в нашей тесной детской: около большого стола садился я на своем детском стульчике, две сестры, которые обе были старше меня, одна тремя, а другая шестью годами, старая бабушка с чулком в руках и нянька-рассказчица, также с чулком и в удивительных очках, которые держались на носу только. Небольшая, худощавая старушка, с очень приятным выразительным лицом (а тогда для меня просто прелестным), с добродушно-насмешливой улыбкой, без умолку рассказывала о странствованиях своих вдоль по Великой и Малой России. Я упомянул о веселом характере старушки, о ее добродушно-насмешливой улыбке: и в рассказах своих она также любила шутливый тон, была мастерица рассказывать забавные приключения, и даже в

приключениях вовсе незабавных умела подмечать забавную сторону. Так, например, я очень хорошо помню рассказ ее о буре, которую вытерпело судно с богомольцами в устьях Северной Двины, приключение нисколько не забавное, и, несмотря на то, рассказ этот обыкновенно повторялся, когда молодой компании хотелось посмеяться, потому что рассказчица необыкновенно живо и комично представляла отчаяние одного портного, который метался из одного угла судна в другой, крича: «О, ангел-хранитель!»

А между тем судьба моей рассказчицы вовсе не была весела. Родилась она в тульской губернии, в помещичьей деревне. Однажды, когда отец и мать ее были в поле, и она, маленькая девочка, оставалась одна в избе, — приходит приказчик и с ним какие-то незнакомые люди: то были купцы, которым была запродана девочка; несчастную взяли и повезли из деревни, не давши проститься ни с отцом, ни с матерью. Потом ее перепродали в астраханскую губернию, в Черный Яр, к купцу. Рассказы об этой дальней стороне, которой природа так резко отлична от нашей, о Волге, о рыбной ловле, больших фруктовых садах, о калмыках и киргизах, о похищении последними русских людей, об их страданиях в неволе и бегстве, также сильно меня занимали. Занимали и рассказы о собственной судьбе рассказчицы, о сильных гонениях, которые она претерпевала от хозяйского сына; я не мог понимать причины гонений, потому что на вопросы получал один ответ: «да так!» — и сын черноярского купца представлялся мне сказочным злодеем, который делает зло для зла. Я уже после угадал причину гонений, когда угадал, за что жена Пентефрия так сильно рассердилась на Иосифа.

Но старый купец с женой иначе смотрели на свою рабу и, по прошествии известного срока, отпустили ее на волю за усердную службу. Ей захотелось возвратиться на родину, но как это сделать? У нее была отпускная, но не было денег, и вот она пошла в кабалу к купцам, отправившимся с товарами в Москву, т. е. те обязались доставить ее на родину с тем, чтоб она после заслужила у них деньги, сколько стоил провоз. Трогателен был рассказ о свидании ее с матерью, с которой она должна была скоро опять разлучиться и переселиться в Москву, где стала наниматься в услужение.

Я упомянул об умственном влиянии рассказов моей няньки, но не могу не признать и религиозно-нравственного влияния; бывало, начнет

она рассказывать о каком-нибудь страшном приключении с нею на дороге, о буре на море, о встрече с подозрительными людьми, я в сильном волнении спрашиваю ее: «И ты это не испугалась, Марьюшка?» и получаю постоянно в ответ: «А Бог-то, батюшка?» Если я и родился с религиозным чувством, если в трудных обстоятельствах моей жизни меня поддерживает постоянно надежда на высшую силу, то думаю, что не имею права отвергать и влияния нянькиных слов: «А Бог-то!»

Отходивши меня, Марья-нянька — так ее называли в доме — жила несколько времени в Москве, уже не в услужении, а собственным хозяйством, и вдруг собралась в дальний путь, в старый Иерусалим. Из Одессы мы получили от нее письмо, в котором она уведомляла, что садится на корабль. После возвратившиеся богомолки сказывали, что видели ее на Афонской горе, — и то была последняя весть.

Я распространился о старой няньке своей, потому что влияние ее на образование моего характера считаю довольно сильным, и потому еще, что после я не встречал подобной няньки, и не мог найти для своих детей няньки, хотя сколько-нибудь похожей на мою Марьюшку. Теперь перейду к другим влияниям, которые начали действовать, когда уже я стал вырастать. Важное влияние на образование моего характера оказала тихая, скромная жизнь в доме отцовском, отсутствие всяких детских развлечений; сестры мои, как я уже сказал, были гораздо старше меня, их скоро отдали в пансион, и я по целым дням оставался совершенно один; вот почему, когда я выучился читать, то с жадностью бросился на книги, которые и составляли мое главное развлечение и наслаждение. Восьми лет записали меня в духовное училище с правом оставаться дома и являться только на экзамены: сам отец учил меня дома закону Божию, латинскому и греческому языкам, для других же предметов я посещал классы коммерческого училища. В последнем учили плохо, но зато я получил больше средств доставать книги и предаваться моей страсти к чтению. Я читал все без разбора, читал романы всякого рода, и Гуака, и Радклиф, и Нарежного, и Загоскина, и Вальтер-Скотта; раннее чтение романов было мне вредно: оно сильно распалило мое воображение и, по всем вероятностям, много препятствовало укреплению моего организма. Но очень скоро, однако, врожденная склонность взяла верх: между книгами отцовскими я нашел всеобщую историю Бассалаева, и эта книга стала

моей любимицей: я с ней не расставался, прочел ее от доски до доски бесконечное число раз; особенно прельстила меня римская история. Велико было мое наслаждение, когда после краткой истории Бассалаева я достал довольно подробную историю аббата Милота, несколько раз перечел и эту, и теперь еще помню из нее целые выражения. Единовременно, кажется, с Милотом попала мне в руки и история Карамзина: до тринадцати лет, т. е. до поступления моего в гимназию, я прочел ее не менее двенадцати раз, разумеется, без примечаний; но некоторые тома любил я читать особенно, самые любимые тома были: шестой — княжение Иоанна III, и восьмой — первая половина царствования Грозного; здесь действовал во мне отроческий патриотизм: любил я особенно времена счастливые, славные для России; взявши, бывало, девятый том, я нехотя читаю первые главы и стремлюсь к любимой странице, где на полях стоит: «Славная осада Пскова». Живо помню, как я ненавидел Батория; по целым дням мечтал я: а что если б вдруг сам царь Иван принял начальство над войском, и разбил бы Батория, взял бы опять и Полоцк, и Ливонию? Представлялось живо, с каким торжеством Иван въезжает в Москву, везя пленного Батория. Мечталось мне и то: а что если по какому-нибудь счастливому случаю отыщут продолжение истории Карамзина? Двенадцатый том мне не очень нравился, именно потому, что в нем описываются одни бедствия России, и как нарочно автор остановился там, где должен начаться счастливый поворот событий. Вместе с книгами историческими любимым чтением моим были и путешествия. Несколько раз прочел я многотомную «Историю о странствованиях вообще», а также «Всемирного путешествователя».

II

Таковы были мои занятия до тринадцати лет; я уже сказал, что в коммерческом училище учили плохо, учителя были допотопные. Дома отец мой не имел времени заниматься со мной постоянно; давши мне в руки латинскую и греческую грамматику, он часто по нескольку недель не требовал от меня отчета в том, что я из нее выучил; но какая же охота была долбить: amo, amas, amat, и (greek characters) — мальчику, который постоянно или защищал Псков от Батория, или вместе с Муцием Сцеволою клал руку на уголья, или с Колумбом открывал Америку? Обыкновенно, каждый день по нескольку часов я держал перед собою латинскую грамматику, но внутри ее лежала другая книжка поменьше, обыкновенно какой-нибудь роман. От этого происходило, что когда отец вдруг начнет меня спрашивать или задаст задачу, т. е. перевод с русского на латинский или греческий, то я отвечал плохо, и в задачах моих «аористы» сильно страдали. То же самое случалось и на экзаменах в духовном уездном училище, которое помещалось в Петровском монастыре. Поездки на эти экзамены были самыми бедственными событиями в моей отроческой жизни, ибо кроме того, что на экзаменах большей частью отвечал неудовлетворительно, что огорчало моего отца, само училище возбуждало во мне сильное отвращение по страшной неопрятности, бедному, сальному виду учеников и учителей, особенно по грубости, зверству последних: помню, какое страшное впечатление на меня, нервного, раздражительного мальчика, произвел поступок одного тамошнего учителя: кто-то из учеников сделал какую-то вовсе незначительную шалость; учитель подошел, вырвал у него целый клок волос и положил их перед ним на стол. Я чуть-чуть не упал в обморок от этого ирокезского поступка.

Здесь я должен сказать несколько слов о состоянии того сословия, из которого я произошел. В своей истории подробно объясню причины печального состояния русского духовенства. Главная причина заключалась в том, что при перевороте (Петровском) духовенство не имело возможности удержать за собою то положение, каким пользовалось в древней России. Прежде священник имел духовное

преимущество по грамотности своей, теперь он потерял это преимущество; правда, он приобрел школьную ученость, но со своей односторонней семинарской ученостью, со своей латынью он оставался мужиком пред своим прихожанином, который приобрел лоск образования, для которого сфера всякого рода интересов, духовных и материальных, расширилась, тогда как для священника она расшириться не могла. Священник по-прежнему оставался обремененным семейством, подавленным мелкими нуждами, во всем зависящим от своих прихожан, нищим, в известные дни протягивающим руку под прикрытием креста и требника. Выросший в бедности, в черноте, в избе сельского дьячка, он приходил в семинарию, где также бедность, грубость, чернота, с латынью и диспутами; выходя из семинарии, он женился, по необходимости, а жена, воспитанная точно так же, как он, не могла сообшить ему ничего лучшего; являлся он в порядочный дом, оставлял после себя грязные следы, дурной запах, бедность одежды, даже неряшество, которые бы легко сносили, даже уважали в каком-нибудь пустыннике, одетом бедно и неряшливо из презрения к миру, ко всякой внешности; но эти бедность и неряшество не хотели сносить в священнике, ибо он терпел бедность, одевался неряшливо вовсе не по нравственным побуждениям; начинал он говорить — слышали какой-то странный, вычурный, фразистый язык, к которому он привык в семинарии, и неприличие которого в обществе понять не мог; священника не стали призывать в гости для беседы в порядочные дома: с ним сидеть нельзя, от него пахнет, с ним говорить нельзя, он говорит по-семинарски. И священник одичал: стал бояться порядочных домов, порядочно одетых людей; прибежит с крестом и дожидается в передней, пока доложат; потом войдет в первую после передней комнату, пропоет, схватит деньги и бежит, а лакеи уже несут курение, несут тряпки: он оставил дурной запах, он наследил, потому что ходит без калош; лакеи смеются, барские дети смеются, а барин с барыней серьезно рассуждают, что какие-де наши попы, как-де они унижают религию!

Бедственное состояние русского духовенства увеличивалось еще более разделением его на белое и черное, на черное — господствующее — и на белое — подчиненное, рабствующее. Явление, только что допускаемое в древней церкви, превратилось в обыкновение, наконец — в закон, по которому архиереи непременно

должны быть из черного духовенства, монахи. И вот сын дьячка какого-нибудь хорошо учится в семинарии, начальство начинает представлять ему на вид, что ему выгоднее постричься в монахи и быть архиереем, чем простым попом, и вот он для того, чтобы быть архиереем, а не по внутренним нравственным побуждениям, постригается в монахи, становится архимандритом, ректором семинарии или академии и наконец архиереем, т. е. полицеймейстером, губернатором, генералом в рясе монаха. Известно, что такое наши генералы; но генералы в рясе — еще хуже, потому что светские генералы все еще имеют более широкое образование, все еще боятся какого-то общественного мнения, все еще находят ограничение в разных связях и отношениях общественных, тогда как архиерей — совершенный деспот в своем замкнутом кругу, где для своего произвола не встречает он ни малейшего ограничения, откуда не раздается никакой голос, вопиющий о справедливости, о защите — так все подавлено и забито неимоверным деспотизмом. Сын какого-нибудь дьячка, получивший самое грубое воспитание, не освободившийся от этой грубости нисколько в семинарии, пошедший в монахи без нравственного побуждения и из одного честолюбия ставший наконец повелителем из раба, архиерей не знает меры своей власти: гнет, давит. Известно, что нет худшего тирана, как раб, сделавшийся господином; архиерей, как сказано, делается господином из раба; это объясняется не только вышеизложенным состоянием белого духовенства, но также воспитанием в семинариях, где жестокость и деспотизм в обращении учителей и начальников с учениками доведены до крайности; чтобы быть хорошим учеником, мало хорошо учиться и вести себя нравственно, — надобно превратиться в столп одушевленный, которого одушевление выражалось бы постоянным поклонением пред монахом — инспектором и ректором, уже не говорю — пред архиереем. И вот юноша, имеющий особенную склонность к поклонению, хотя бы и не так хорошо учился и не так отлично вел себя, идет вперед, постригается в монахи и скоро становится начальником товарищей своих, и легко догадаться, как он начальствует! Мы видели, по каким побуждениям произнес он обеты монашеские: он пошел в монахи не для того, чтобы бороться со страстями и подавлять их, а напротив, для удовлетворения одной из самых иссушающих человека страстей — честолюбия; он пошел в

монахи, чтобы быть архиереем. И вот некоторые из этих ученых монахов и архиереев, не имея никаких нравственных побуждений для обуздания плотских страстей, предаются им и производят соблазн; но надобно заметить, что это еще лучшие архиереи; зная за собою грешки, они мягче относительно других, относительно подчиненных. Гораздо хуже те, которые удерживают себя, надевают личину святости; страсти плотские кипят не удовлетворенные, но и не обузданные христианскими нравственными началами, христианским подвижничеством; черствая душа не размягчается ни постоянной молитвой, постоянным сообщением с предметом религиозной любви, ни мягкими отношениями семейными, доступными мирским людям: черствая душа невольного инока-архиерея ищет удовлетворения другим страстям, удовлетворения приличного и безнаказанного в мире сем; отсюда — необузданное честолюбие, злоба, зависть, мстительность, страшное высокомерие, требование бесполезного рабства и унижения от подчиненных, ничем не сдерживаемая запальчивость относительно последних. Разумеется, были исключения; но я говорю не об исключениях; я прибавлю, что представительнейший из русских архиереев второй половины XVIII века, Платон, дрался собственноручно, брал подарки от подчиненных, обогащал племянниц своих; преемник его, Августин, человек даровитый, знаменит был известной связью с Марфой Кротковой и неприличными остротами; преемником Августина был Степан, в иночестве Серафим; посвящение его в монахи любопытно. Он был хорош собою и счастлив с женщинами; однажды к Платону дошла сильная жалоба на семинарского ловеласа; Платон, любивший вербовать всеми неправдами в монахи, воспользовался случаем и предложил молодому преступнику на выбор: или жестокое наказание, лишение будущности, или пострижение и архиерейство. Степан избрал последнее и превратился в Серафима. После этого события однажды Платон гулял с профессорами академии по двору Троицкого монастыря и занимался любимой своей забавой: взглянувши на какой-нибудь предмет, он произносил первый стих, относящийся к этому предмету, а спутники должны были подбирать приличный второй стих. Взглянувши на старый царский дворец, Платон произнес:

«Чертоги зрю монарши»…

Из толпы спутников немедленно послышался второй стих:

«Погиб Степан от секретарши!»

Этот Степан, или Серафим, оказался человеком бездарным и, несмотря на то, был после митрополитом Московским, а потом Петербургским и первенствующим членом синода, ибо правительство боялось архиереев даровитых и любило смиренные посредственности. Но Серафим, не отличаясь ничем хорошим, не отличался, по крайней мере, ничем дурным, был добрый, очень сносный архиерей.

III

Не таков был знаменитый преемник Серафима в московской митрополии — Филарет. Принадлежа, бесспорно, к числу даровитейших людей своего времени, Филарет шел необыкновенно быстро, поддерживаемый массонской партией, к которой принадлежал, особенно другом своим, князем Александром Николаевичем Голицыным. От природы ли получил он горячую голову и холодное сердце, — или вследствие положения его, вследствие отсутствия сердечных отношений, внутренняя теплота постоянно отливала у него от сердца к голове, — только этот человек для коротко знавших и наблюдавших его представлял печальное явление. Рожденный быть министром, он попал в архиереи. Если бы он попал в латинские прелаты, то он нашел бы себе деятельность, но он попал в русские архиереи, между которыми правительство любило ум и талант только в той степени, в какой этот ум и талант употреблялись исключительно на служение ему, правительству. Филарет шел шибко, когда служил правительству, и был удален, когда заметили в нем попытки служить себе или своему сословию. Религия требует от монаха отречения от мира для Бога; наше правительство требовало от монаха-архиерея отречения от мира и от Бога для него — правительства. Филарет должен был перестать ездить в Петербург для присутствия в св. синоде, где шпоры обер-прокурора, гусарского офицера, графа Протасова, зацеплялись за его рясу. По смерти Серафима, Филарета оставили в Москве, а в Петербург, т. е. в первоприсутствующие члены синода, взяли с юга какого-то Антония, человека ничтожного, а после Антония — Никанора из Варшавы, такую же ничтожность сравнительно с Филаретом. Сначала было думали, что Филарет станет явно в оппозицию; некоторые проповеди показывали действительно в нем это направление, но это было минутное выражение досады оскорбленного честолюбия; Филарет не мог свыкнуться с мыслью жить вне благосклонности царской, архиереем опальным, ибо опала эта уменьшила бы его значение, — и он стал льстить, поднес голубя (При торжестве двадцатипятилетия царствования императора Николая I, Филарет от имени всего

московского духовенства (которое ничего об этом не ведало), просил у государя позволения соорудить над престолом Успенского собора изображение св. Духа в виде голубя), который возвратился к нему с масличною ветвью, знаками благоволения. Испорченность Филарета можно было заметить из его разговоров: начнет о чем-нибудь и сведет на двор, на императора, на свои сношения с царской фамилией. Я сказал уже, что у этого человека была горячая голова и холодное сердце, что так резко выразилось в его проповедях: искусство необыкновенное, язык несравненный, но холодно, нет ничего, что бы обращалось к сердцу, говорило ему. Такой характер при дарованиях самых блестящих представил в Филарете печальное явление: он явился страшным деспотом, обскурантом и завистником. Сохрани Боже, если светское лицо скажет что-нибудь прекрасное относительно религии и церкви; сохрани Боже, если кто-нибудь из духовных, помимо его, скажет что-нибудь прекрасное, — он оскорблен. Талант находил в нем постоянного гонителя; выдвигал, выводил в люди он постоянно людей посредственных, бездарных, которые пресмыкались у его ног. Это пресмыкание любил он более всего, и ни один архиерей не мог соперничать с ним в этой любви; ни в одной русской епархии раболепство низшего духовенства пред архиереем не было доведено до такой отвратительной степени, как в московской во время управления Филарета. Этот человек (святой во мнении московских барынь) позабывал всякое приличие, не знал меры в выражениях своего гнева на бедного, трепещущего священника или дьякона при самом ничтожном проступке, при каком-нибудь неосторожном, неловком движении. Это не была только вспыльчивость, — тут была злость, постоянное желание обидеть, уколоть человека в самое чувствительное место. Об отношениях Филарета к подчиненным всего лучше свидетельствует поговорка, что он ел одного пискаря в день и попом закусывал. И не должно думать, чтобы здесь была излишняя строгость, излишние требования от подчиненных благочиния и нравственности; Троицкая лавра, подчиненная ему непосредственно, была местом разгула; на нравственность духовенства вообще он не обращал внимания: Филарет требовал одного — чтобы все клали поклоны ему, и в этом полагал величайшую нравственность.

В ужасном состоянии, под гнетом Филарета, находились духовная академия московская и семинария. Преподаватели даровитые здесь

были мучениками, каких нам не представляет еще история человеческих мучений. Филарет по капле выжимал из них, из их лекций, из их сочинений, всякую жизнь, всякую живую мысль, пока наконец не кастрировал человека совершенно, не превращал его в мумию. Такую мумию сделал он из Горского, одного из самых даровитых и ученейших между профессорами духовной академии. Филарет являлся для преподавателей хищным животным, которое прислушивается к малейшему шороху, обнаруживающему жизнь, движение, живое существо и бросается, чтоб задавить это существо. Появится живая мысль у профессора в преподавании, в сочинении, — Филарет вырывает ее, и, чтоб отнять в преподавателе охоту к дальнейшему выражению таких мыслей, публично позорит его на экзамене: «Это что за нелепость! Дурак!» — кричит он ему. Несчастный кланяется. — Русская церковь могла с похвальбою выставить пред западной — Филарета, который мог превзойти самого ловкого иезуита. Он и не скрывал своего сочувствия к иезуитам, говорил в академии: «Как жаль, что столько талантов, учености, трудолюбия, самоотвержения, благонамеренности употреблено на поддержание папских заблуждений!» — Поданный им проект учреждения миссионерских училищ был совершенно иезуитский: также запрещено было ученикам ходить вдвоем, также развита была система шпионства и доносов; даже императора Николая оскорбил этот проект, и он отвергнул его. В академической библиотеке сохранялась книга о раскольниках, драгоценная по собственноручным замечаниям митрополита Платона, следующего содержания: спор с раскольниками невозможен, ибо для успешного окончания всякого спора необходимо, чтобы спорящие признавали одно начало. Так, в религиозном споре необходимо, чтоб обе стороны признавали один авторитет — священное писание; но невежественный раскольник одинаковую важность с Евангелием придает и творениям отцов, часто ошибавшимся, и приговорам соборов, также часто ошибочным, житиям святых и разным повестям нелепым. Просвещенный богослов опровергать его не может уже и потому, что боится оскорбить и своих слабых, благоговеющих пред всеми этими авторитетами: и потому молчи, просвещенный богослов, и ври, невежественный раскольник! — Филарету показали эту книгу; он взял ее к себе и возвратил ее в другом виде: строки, написанные Платоном, уже были

уничтожены: «Зачем» — сказал он при этом — «позорить память такого знаменитого пастыря». Какой-то невежда написал книгу против раскольников, где мнение папы Иннокентия III приписал Иннокентию II, другу Иоанна Златоустого, а другой невежда поставил обоих Иннокентиев и приписал им одно и то же мнение. Книга проходила чрез академическую цензуру; профессора представили ее Филарету с указанием явной нелепости: «Пропустить», — отвечал Филарет, — «это может принести пользу». Однажды Филарет выразил желание, чтоб кто-нибудь занялся опровержением Сведенборга, имеющего читателей и почитателей. Один ученый занялся делом и представил ректору изложение учения Сведенборга и опровержение. Первая часть, изложение учения, ужаснула ректора: «Как можно так писать! Сведенборг выходит у вас очень умен». И давай вычеркивать из сочинения все то, что могло выставить Сведенборга в сколько-нибудь выгодном свете; ревность отца-ректора дошла до того, что, встретив известие: в одной гостиннице Сведенборг имел видение, он зачеркнул: «гостинница» и написал: «кабак». В этом исправленном виде сочинение было представлено Филарету; но тот нашел, что и тут оно представляет Сведенборга в выгодном свете, и еще перемарал, так что когда ректор после этого опять начал читать статью, то с самодовольным смехом повторял: «Какой этот Сведенборг был дурак!»

IV

В таком печальном состоянии находилось русское духовенство, когда я начал понимать. Но скоро я мог уже заметить мерцание света, обещавшее выход из этого страшного положения, и то направление, которым шла Россия в продолжение 150-ти лет, взяло наконец свое: просвещение, начавшее наконец смягчать нравы, распространять лучшие понятия в русском обществе, проникло с этим благодетельным влиянием своим и в семинарии, и в духовенство. Русский человек любит читать, — это искони было залогом его прогресса; читали и читали усердно семинаристы и попы, оглянулись на самих себя при новом свете, и стало им гадко; начало распространяться недовольство своим воспитанием, условиями своего быта, и это был уже огромный шаг; начали отряхаться, обчищаться извне, но с этим вместе шло, хотя понемногу, и внутреннее очищение; особенно большое влияние оказали здесь, как и на все русское общество, журналы; при сравнении нескольких поколений священников, старых, средних, новых, легко было увидать разницу в пользу последних. Здесь Петербург пошел вперед: в этом городе изначала было больше внешней чистоты, которая всегда имеет влияние на внутреннюю, если не употреблена во зло, не доведена до односторонности. Во всей России вообще и в Петербурге в особенности преобладало стремление к одной форменности; не могло не отразиться это и на духовенстве; с другой стороны, вначале духовенство, особенно в Петербурге, познакомившись ближе с наукой, ударило в протестантизм, потом в рационализм. Но этому явилось противодействие: религиозная потребность начала усиливаться: в XVIII веке смотрели на религию с презрением и не могли не радоваться унизительному состоянию служителей религии; в XIX веке направление изменилось; волей-неволею должны были уступить религии высокое, высочайшее место: обнаружилось стремление к самопознанию, начались толки о старине русской, в которой церковь играла такую важную роль; с желанием поднять русскую старину, русскую народность необходимо соединилось желание поднять русскую церковь, православие, как главную отличительную черту этой народности; люди неверующие во Христа начали толковать о

превосходстве православия над другими исповеданиями христианскими; все это необходимо должно было содействовать очищению духовенства, и признаки этого очищения, как уже сказано, показались в половине XIX века, — конечно, признаки не очень резкие, слабое мерцание света, который не мог светить ярко, благодаря тяжести атмосферы повсюду в России; но все начинается с небольшого, не вдруг.

Признавая важное значение православия в русской истории, мы не назовем, однако, влияния этого «византийского» исповедания безусловно благодетельным; вместе с этим, впрочем, вглядываясь внимательно и в прошедшее, и в настоящее, мы не можем приписывать неприятного во многих отношениях хода русской истории православию, не можем не увидать в нем светлых сторон относительно и прошедшего, и настоящего, и будущего.

Православие могущественно содействовало утверждению единовластия и самодержавия; по характеру своему, это «византийское» исповедание изначала стремилось стать полезным оружием самодержавной власти — и стало. Таким образом, скажут иные, православие способствовало утверждению рабства, было оружием порабощения в руках деспота; элементы сопротивления деспотизму не могли находить в нем опору. Но мы спросим, где были эти элементы сопротивления и каковы были они? Бессмысленное боярство — с одной стороны, и свирепое казачество — с другой! Предположим, что вместо православия был бы в России католицизм: конечно, историк не имеет права толковать о том, что бы из этого произошло; но он имеет право сказать, что могли бы произойти такие явления, которым помешало одно только православие, а именно, только одно православие помешало Владиславу стать царем в 1612 году и ополячить Московское государство; но кто же решится сказать, что было бы лучше, если б вся восточная Европа представляла сплошную Польшу? Православие отняло Малороссию у Польши и дорушило последнюю, собравши всю восточную Европу в одно целое под именем России: неужели мы будем сетовать за это на православие? Относительно настоящего я спрошу у тех, которые не признают никакой религии, но уважают католицизм за его великую, будто бы, историческую роль и презирают православие за то, что оно этой роли не играло, — я спрошу у этих господ: «Вы не верите ни во что, громко

признаетесь в этом, круглый год не заглядываете в церковь — и кто вас за это тревожит? Знаете ли вы вашего приходского священника, и знает ли вас этот священник? Вы совершенно свободны и этой свободой обязаны православию, ибо католический священник не позволил бы вам так спокойно вольнодумничать, так спокойно презирать его: в нем имели бы вы самого злого врага, доносчика, который или запрятал бы вас в недоброе место, или бы заставил ходить к себе в церковь и на исповедь; если в православии правительство имеет орудие тупое, в католицизме оно имело бы острое». Но самое важное и благодетельное значение православие должно, по моему мнению, иметь для будущности народов, его исповедающих. Мы видим, что протестантизм многих не удовлетворяет; достаточно факта, всем известного: движение от протестантизма между англичанами, народом самым практическим, умеющим более других народов остановиться на средине, избежать крайностей, — всего лучше доказывает, что протестантизм неудовлетворителен. С другой стороны, католицизм, не говоря уже об исторической и догматической неправде папизма, становится, как видим, постоянно на дороге движения народа вперед, никак не может ужиться с новыми потребностями народов. Что же касается православия, то, во-первых, оно не имеет того характера, безавторитетности, которым протестантизм именно многих не удовлетворяет; с другой стороны, чуждое неправды папизма православие может быть везде народной формой религиозного исповедания и нисколько нигде не стеснит народных движений, ибо уживется со всякими правительственными формами. Православие отражает теперь на себе всю черную сторону настоящего состояния русского общества; оно страдает вместе с нами; при перемене к лучшему, на нем отразится эта перемена, оно не помешает ей; теперь оно страдает вместе с нами, — тогда будет радоваться и будет довольно вместе с нами; это — наш верный спутник; не будем же отнимать от него руки нашей.

V

Как я уже сказал, — во время моего отрочества, в некоторых священнических семействах начало возникать недовольство своим положением, стремление выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться. К числу таких семейств принадлежало и наше. В нем начало прогресса представлялось преимущественно матерью. Родня отца моего, священники, дьяконы, дьячки оставались в селах; родные моей матери были, большей частью, светские, — отсюда и большая часть знакомства состояла из светских же людей; было и несколько духовных, которых мать очень не любила и которые своими привычками и поведением разнились от светских знакомых не к своей выгоде. Эта противоположность, которую, разумеется, мать старалась выставлять при каждом удобном случае, произвела на меня сильное впечатление, внушила мне отвращение от духовного звания, желание как можно скорее выйти из него, поступить в светское училище. Сестер моих отдали в пансион, что было тогда очень редким явлением между духовными, — страннее было бы меня отдать в семинарию, особенно когда в устах моей матери семинария была синонимом всякой гадости. Отец колебался, медлил; но скоро медлить стало нельзя по той причине, что, как уже сказано выше, я плохо занимался латынью, плохо отвечал на экзаменах в Петровском монастыре; отец видел, что я занимаюсь, целый день сижу с книгами, но знаю не то, что требовалось в духовных училищах, и наконец решился выписать меня из духовного звания и определить в гимназию. И здесь в самом начале произошло сильное препятствие, вследствие моего беспорядочного воспитания: я изумил учителя истории и географии моими познаниями, но оказался крайне слаб в математике, к которой питал сильное отвращение в самом начале и во все продолжение моего учения. Меня едва приняли в третий класс.

Здесь прежде всего я должен заняться описанием гимназии, как она находилась в то время, как я вступил в нее. Учение вообще, с некоторыми исключениями, было порядочное, например, гораздо порядочнее, чем в коммерческом училище, кроме того, учителя и надзиратели не позволяли себе таких ирокезских поступков, как в

духовных училищах; но нельзя сказать, чтобы нравственность учеников была в сколько-нибудь удовлетворительном состоянии. В третьем классе, куда я поступил, было более ста человек; тишины и благочиния, особенно между уроками, было мало; всего хуже было то, что многие ученики, получившие дурное нравственное воспитание дома, позволяли себе громко и беззазорно площадное сквернословие. Некоторые учителя, учителя главных предметов, пользовались особенным уважением, и у них в классе было тихо; но зато у других — у несчастного немца, у рисовального учителя — ходили вверх ногами. Обыкновенно перед немецким классом толпа отчаянных шалунов отправлялась из классной комнаты в коридоры, и как только немец усядется на кафедре и начнет заниматься делом, двери отворяются, и ушедшие с шумом входят гусем один за другим; обыкновенно шествие открывал маленький шалун Чесноков,(кончивший курс в университете, вступивший в военную службу и убитый на Кавказе), с необыкновенно белым лицом и белыми волосами; немец вскакивал, начинал кричать: «Старший! Хватай, лови! Хватай этого белого седого первого гуся!» — Но старший был сам из учеников, самого его гусиное шествие забавляло так же, как и других. Начнет немец диктовать; все пишут и сидят тихо в ожидании, пока он скажет: «semicolon»; тогда все хором: «зимний Никола»! Немец опять начинает беситься — и новое наслаждение! Предание ходило, что прежде, лет пять назад, было еще хуже или еще лучше: рассказывали, как в рисовальный класс врывалась толпа учеников, переряженных, в вывороченных шубах, как рисовальный учитель приходил с кнутом в класс, за что и прозван был пастухом. Это было в блаженные времена инспекторства профессора Семена Мартыновича Ивашковского, добрейшего и страннейшего человека. Бывало, Ивашковский придет в спальни к казенным ученикам и найдет там одного из них, по лености не пошедшего в класс, отгуливавшего, по гимназическому выражению. «Ты, буде, зачем здесь?» — кричит грозно инспектор. — «Солдаты! розог!» — Ученик не оправдывается, но старается отвлечь внимание Ивашковского на другие предметы: «Семен Мартыныч! Извольте поглядеть: вот уже третий день, как форточка разбилась, а ее все не чинят!» — «Да, буде, хорошо, что ты мне показал». «Семен Мартыныч! Вот под кроватями никогда не выметают сору». — «Хорошо, буде, хорошо, что ты мне указал». А между тем солдаты

пришли с розгами и стоят в дверях. «Вы, буде, зачем пришли?» — «Ваше высокоблагородие изволили приказать». — «Врете, буде: я вам никогда не приказывал; ступайте вон»! — Солдаты уходят, и Семен Мартыныч идет далее, забывши об ученике отгуливавшем, о форточке, о соре под кроватями и обо всем на свете. При мне инспектором был Михайло Игнатьич Беляков, также прежде профессорствовавший в университете. Это был человек неглупый и распорядительный, но желчный и грубый; какой он мог показать пример воспитанникам, как мог приучить их к лучшим, чистейшим формам, видно из того, что как, бывало, начнет кричать на учеников, то не обойдется без «с… с…!». Был он вдов и жил с толстой нянькой своего сына, что, разумеется, не могло очистить его от дурных привычек, и что ученики очень хорошо знали. Еще меньше хорошего примера мог подать главный начальник гимназии, директор Окулов. Этот человек был известен в Москве разгульной, развратной жизнью, мотовством, искусством рассказывать анекдоты, преимущественно непристойные; при этом добрейший, приятнейший человек в обществе, не делавший никому зла. Но эти достоинства меньше всего, однако, давали ему право быть директором воспитательного заведения. На гимназию он смотрел как на доходное место, имея много пансионеров; привыкши брать всюду деньги без отдачи, он распоряжался и гимназическим казенным сундуком, как своим, что приводило в отчаяние инспектора и учителей, на которых должна была пасть вся ответственность; делами вовсе не занимался, предоставляя все инспектору. И такой-то человек был лет двадцать директором гимназии и умер на этом месте (в 1853 году); тщетно граф Строганов, во время своего попечительства, пытался несколько раз его свергнуть, аттестуя его так: «он способен — только не по учебной части». Окулов держался связями, был любим великим князем Михаилом Павловичем; сестра его была хороша при дворе, а сам он был приятелем министра Уварова, которого потешал своими беседами.

Попечителем учебного округа был знаменитый в Москве вельможа, князь М. Голицын, называвшийся «последним московским барином». Это был человек ограниченный, самолюбивый, привыкший с ранней молодости играть первенствующую роль по своим связям и богатству, но вместе с тем очень добрый, набожный нелицемерно, имевший в себе истинно-аристократические свойства. Давно уже он

занимал должность председателя опекунского совета, но мало занимался делами и мало был способен к занятиям; понятно, что еще меньше занимался он делами округа и еще меньше был способен заниматься ими. Кажется, во все время управления своего он был только раз в университете, и вот по какому случаю: жена генерал-губернатора, княгиня Татьяна Васильевна Голицына, выдав свою воспитанницу за профессора Ш., хотела непременно, чтобы попечитель оказал внимание последнему, был у него на лекции. Кн. М. Г. хотел угодить даме и проехал в университет, но вместо Ш. попал на лекцию к сопернику его, Надеждину, и остался в полном убеждении, что слушал Ш. В гимназии мы видели его раза два или три, и этим обязаны были тому, что он жил рядом с гимназиею; говорят, что одним из этих посещений мы были обязаны тому, что во время прогулки Г. необходимо стало как можно скорее удовлетворить естественной нужде, и он, не успевши добежать до дому, забежал в гимназию и из известного места уже потом кстати зашел и в классы.

Гимназия и вообще Московский округ ждали человека для своего преобразования, очищения — и дождались: по просьбе Голицына, он был избавлен от попечительства, и на его место назначен был граф Сергей Григорьевич Строганов. Приехал новый попечитель — и, как по свистку в театре, декорации переменились: в классах — порядок, благочиние, тишина; бывало прежде, у некоторых учителей послабее, на передней лавке ученики еще слушали кое-что, на средних — разговаривали, а на задних — спали или в карты играли; теперь кто и не хотел заниматься, сидел тихо и не мешал другим. Главное — ученики и учителя пообчистились, отряхнулись, стали с большим уважением смотреть на себя, на свои занятия. Отчего же это произошло? Оттого, что явился начальник, какого никогда еще не бывало, человек деятельный, хотевший сделать в своем ведомстве все, как нельзя лучше, и имевший к тому все средства. Дух добросовестного начальника сделался присущ каждому заведению; Строганов поселил всюду свой дух, и этот дух блюл за улучшением нравственным и учебным. Всех осенила благодетельная мысль: чтобы заслужить внимание начальника, надобно как можно усерднее исполнять свою обязанность — и только, не заботясь более ни о чем; от начальника не скроется нерадение, он не пощадит; и к нему нельзя подольститься ничем другим, кроме усердного исполнения должности,

кроме личных достоинств. К Строганову можно было подольститься только тем, чем у других начальников подчиненный мог только навлечь на себя вечную опалу. Вот случай, который лучше всего определяет взгляд Строганова на отношения подчиненных к начальнику. Однажды я был у него; пришел какой-то другой господин и начал говорить об одном чиновнике, служившем под начальством Строганова. Последний рассыпался в похвалах этому чиновнику и кончил панегирик так: «Что это за человек! Бывало, начну с ним спорить, указывать ему — не даст слова выговорить! Прекрасный, честный человек, крепкий в своих убеждениях!» Такой взгляд всего резче выдавался оттого, что в наше время у генералов военных и статских подчиненный мог выиграть только лестью, поддакиванием, самоуничижением. Чтоб испытать твердость убеждений преподавателей, Строганов любил озадачивать, накидываться; конечно, знавшему эти приемы и действительно крепкому в своих ученых или каких бы то ни было убеждениях легко было осадить Строганова и этим снискать его уважение; но некоторые, неопытные, попадались; например, однажды он вдруг спросил учителя физики: «А в какую сторону вертится ручка электрической машины?» — и тот не умел ответить. Но не должно думать, что подобное неуменье уже решало судьбу преподавателя, определяло окончательно мнение попечителя о нем; важное достоинство Строганова заключалось в том еще, что он старался долго со всех сторон собирать о человеке разнородные слухи, и окончательно определял свое мнение на основании мнения большинства специальных людей в ученом отношении и большинства порядочных людей — в нравственном.

Прийти к Строганову с рекомендательным письмом от знатной дамы, от знатного господина, значило навсегда погубить себя в его мнении, никогда не получить от него места. Огромная была заслуга Строганова в том отношении, что он уничтожил занятие учебных воспитательных мест по рекомендациям людей, неспособных ценить рекомендуемых. Его положение в обществе и характер делали для него это возможным. Неизвестно, как и где Строганов напитался смолоду аристократическими понятиями. Потомок пермского колониста, именитого человека Строганова, явился самым сильным поборником аристократических стремлений. Основная его мысль — поднять высшее дворянское сословие в России, дать ему средства поддержать

свое положение, остаться навсегда высшим сословием; самым сильным для этого средством в его глазах было образование, наука; отсюда — мысль, что люди, поставленные по происхождению и богатству в верхнем слое общественном, должны учиться по преимуществу. Сам он получил плохое, поверхностное образование; но благородным инстинктом понял, что наука есть могущество; отсюда — глубокое уважение к науке, интерес ко всем явлениям науки и литературы. Будучи попечителем, он любил выпытывать, высасывать из подчиненных ему ученых сведения; но понятно, что получаемые таким образом сведения при недостатке первоначального образовательного учения неправильно громоздились в его голове, вовсе не гениальной, дурно переваривались, часто безобразно и смешно скоплялись около некоторых любимых его мыслей. Но дело было не в правильности той или другой мысли попечителя, не в том, что этот попечитель перепутывал события, имена, лица по недостатку памяти и правильного, измлада начатого накопления сведений; дело было в том, что попечитель уважал мысль вообще, уважал науку, ставил выше всего честность, прямоту, благородство, талант, трудолюбие, святое исполнение обязанностей, имел практический смысл, не увлекался первой мыслью, как бы она ни поразила его с первого раза своей верностью и пользой в применении, не доверял самому себе, как безошибочному сценщику, не доверял и другим, но выпытывал мнения у многих авторитетных людей посредством спора, сравнивал эти мнения. Мы часто имели случай смеяться над его учеными промахами; нельзя было не смеяться, как однажды при мне он вздумал в названии города Посидония искать тождества с русским словом посад, или имя князя Лугвения на его печати — принял за название города Лугвеня; но, с одной стороны, уже сами эти объяснения-промахи были почтенны в русском генерале, начальнике университета, тем более, что Строганов никогда не давал значения своим ученым мнениям и догадкам, оставляя их при первом решительном возражении и объяснении специалиста; с другой стороны, несмотря на то, что Строганов иногда подавал нам причины внутренне посмеяться, никто из нас не выходил из его кабинета без уважения к человеку добра, который умел оценить всегда все хорошее и дать ему ход. Понятно, что у такого человека, как Строганов, было множество врагов в разных слоях общества. В высшем, в собственном

его кругу, его вообще не любили за гордость. Действительно, Строганов был горд с равными себе по общественному значению, ибо очень немногих признавал себе равными: пред генералами-фельдфебелями, выходцами-лакеями он гордился своим происхождением, чистотой характера, благородством во всех отношениях, пред людьми, равными ему по происхождению, он гордился своей образованностью, тем, что сохранял в чистоте свое происхождение, не пятнал его раболепством, выслуживанием, чем пятнала себя большая часть равных ему по происхождению. Действительно, Строганов был горд, неуживчив; сколько он был уступчив с нами, людьми, которых умственное превосходство он признавал, столько же был неуступчив, горд, резок с людьми, которых нравственного и умственного превосходства над собой он не считал себя обязанным признавать, ибо считал себя одним из первых вельмож в империи — Божьей милостью. При этом, он был холоден, дик, мало доступен, скуп. Последнее свойство, — не знаю, крылось ли оно в его природе, по крайней мере, видимо, оно проистекало из его убеждений. Государство сильно только аристократией, думал он; но аристократия сильна не одним своим происхождением, особенно в России, где выходцам открыта такая свободная дорога; аристократия поддерживается личными достоинствами членов своих, их нравственными средствами — отсюда стремление усвоить образование, науку, преимущественно для высшего сословия; но аристократия могущественно поддерживается также богатством, отсюда — стремление сохранить и увеличить богатство аристократической фамилии. Происходя сам из бедной линии Строгановых, он приобрел огромное имение (с лишком 60.000 душ) за женой, единственной наследницей богатой линии Строгановых; имение было огромно, но обременено долгами; он должен был очищать его; это было новым побуждением к скупости; наконец, имение составляло майорат; все эти 60.000 слишком душ переходили к старшему сыну, младших должно было наделить деньгами, деньги должно было скопить — еще побуждение к скупости. Но когда нужно было приобрести картину знаменитого мастера, редкую древнюю вещь, монету или что бы то ни было, помочь бедному ученому издать свое сочинение — там Строганов не был скуп; для журнала, который

мы собирались издавать в 53-м году, он давал нам большую сумму денег, но мы не могли воспользоваться его предложением.

Но гордость, недоступность, скупость вооружали против Строганова многих из лиц его общества; старание очистить подчиненных ему людей вооружило против него тех из них, которым уже нельзя было очиститься и которым было тяжко при нем. Но для порядочных людей, как принадлежащих к ученому ведомству, так и для всех тех, которым дорого было просвещение, управление Строганова Московским учебным округом было золотым временем. Не могу без глубокого чувства благодарности вспомнить того освежения нравственной атмосферы, которое произошло у нас в гимназии, когда приехал Строганов попечительствовать!

Директором остался тот же Окулов, но он был еще в большем отдалении от дел, в явной немилости у попечителя, который презирал его, не хотел входить с ним ни в какие сношения. Инспектор Беляков оставил свое место, получив высшее место окружного инспектора; порядочных людей было мало, потому пригодился и Беляков, по своему здравому смыслу и знаниям могший быть очень полезным для общего надзора за училищами округа, не приходя в ближайшее соприкосновение с учениками, следовательно, не вредя им своей грубостью. На его место инспектором в гимназии был назначен Погорельский, из тамошних учителей математики и бывший также адъюнктом в университете, человек ловкий, деятельный, сметливый, самолюбивый, умевший понять, чего хотел Строганов, чем надобно быть, чтоб приобрести его расположение. Понятно, как много добра мог сделать такой инспектор при Строганове. Благодаря ему-то произошла такая быстрая перемена, о которой я говорил. Сменены были учителя или слабые, как учитель греческого языка Пантази, или имевшие голову не в правильном состоянии, как, например, Оболенский, сперва учитель русской словесности, потом латинского языка и адъюнкт греческого языка в университете, или давно уже остановившиеся, не хотевшие знать ничего, кроме своего учебника, как, например, учитель истории Добровольский. Все пошло живее и тверже, а главное — распространилось уважение к науке, которая стала высшей, исключительной целью.

VI

Как прежде было сказано, я поступил в третий класс, благодаря плохому знанию математики. Вследствие сильного отвращения от этой науки, полной неспособности к ней, невозможности понять, к чему служит эта передвижка цифр и букв, какая благодать от того, что x в квадрате + px +q = 0, что X, наконец, может быть равен 23 или 33, что при таких-то и таких-то случаях треугольники равны, — вследствие этого я не мог делать успехов и в гимназии, хотя здесь принужден был силой заниматься и математикой, ломать без пользы голову по нескольку часов над задачами, что, разумеется, еще более усиливало во мне отвращение к предмету. В третьем классе учителем был Волков — страшный педант; это чудовище осмелилось однажды поставить меня на колени, что случилось со мной в первый раз в жизни; понятно, каково было моему самолюбию — самолюбию ревностного сопутника героев древней, средней и новой истории. Мало того: Волков обращался ко мне с такими милыми приветами: «Дурак ты, дурак ты, Соловьев! — Уравнения второй степени решить не можешь! Жаль мне твоего отца, отец твой хороший человек, а ты дурак!» — И вот прошел год; я вышел из всех предметов отличным, кроме математики; инспектор дал знать об этом отцу; отец нанял ученика из старшего класса, чтоб приготовлять меня из математики к экзамену; я приготовился, взял, как говорится, если не мытьем, так катаньем, выучил наизусть все доказательства; экзаменовал учитель старших классов, Погорельский, к которому я должен был перейти; этот человек любил скорые, твердые ответы; я отрезал ему ответ на диво, и Погорельский восхитился, поцеловал меня, сказал: «Умница мальчик! молодец мальчик!» — и поставил мне 5. Волков стоял тут, и я был вполне отомщен; тем более успех мой был блистателен, что большая часть учеников, пользуясь длинной вакацией по случаю перестройки гимназии, очень плохо приготовилась. Я поступил в четвертый класс изо всех преметов первым. Здесь я должен заметить любопытное явление: ученики, которых я застал в третьем классе, перешедшие сюда из второго с отличными успехами, начали уже здесь портиться, перешли в четвертый класс кое-как и не могли дотянуть вовсе до

седьмого, последнего; из ста человек, бывших при мне в третьем классе, не более пяти вместе со мной дотянули до седьмого и вступили в университет; все другие были вступившие позднее нас прямо в 4-й и 5-й классы. Еще любопытный случай, который поразил меня в гимназии: в третьем классе силой и железным здоровьем отличались трое учеников — Чернохвостов, Богачев и Щютц, а я был самый слабый и хилый в целом классе: означенные богатыри могли меня повалить пальцем; и что же? все трое года через два или через три умерли! Причиной смерти Богачева и Щютца было, как надобно полагать, раннее и излишнее знакомство с женщинами; что же касается до Чернохвостова, то этот очень умный и развитой малый влюбился в Наполеона и пришел к мысли, что он и в России, при ее настоящем положении, может сделаться Наполеоном; в 16 или 17 лет мало ли что воображается, все считается возможным; но, к несчастию, Чернохвостов не хотел ограничиться одним воображением; у него достало настолько силы духа, чтобы начать осуществление своих мечтаний. Ему надобно было прославиться на военном поприще; в мирное время этого достичь нельзя, и особенно ему, сыну мещанина, — и вот он, тайком от матери и старшего брата, пешком отправляется на Кавказ, чтоб поступить там в солдаты и выдраться в офицеры подвигами против горцев; но уже перед самым достижением цели, сколько помню, в Пятигорске, он зашел отдохнуть на татарское кладбище; правоверные сочли это осквернением и попотчевали его камнями, из которых один угодил в сердце; богатырь свалился, заболел; между тем, брат начал розыски; на Кавказе отыскался у них дядя, который принял попечение о больном, и, как скоро наш герой немного оправился, его препроводили назад в Москву. Возвратившись, он стал было приготовляться к университету, и в то же время занимал место корректора в одной частной типографии, но богатырская природа не долго могла бороться с следствиями происшествия на кладбище, и Чернохвостов погиб от чахотки.

С четвертого класса преподавателем русского языка был у нас Попов, учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели своего преподавания — выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были. Когда он начинал объяснять урок к

следующему классу, урок из логики или риторики, — я, заинтересованный предметом, начинал вслух высказывать ему свои мысли. Попов не нашел этого странным со стороны ученика, пятнадцатилетнего мальчика, — напротив, находил удовольствие в этих присказываниях, в этой беседе, обмене мыслей со мной; должно быть, я говорил недурно, благодаря огромному количеству прочтенных книг, потому что Попов получил очень высокое мнение о моих способностях и внушил это мнение остальным своим товарищам-учителям. Вследствие этого высокого мнения о моем умственном развитии Попов был чрезвычайно строг к моим сочинениям; хотя он и гордился ими, и выставлял их напоказ, но ему все казалось, что я мог бы еще лучше писать; разобрав мое сочинение, он часто приговаривал: «Хорошо! но скажи, пожалуйста, Соловьев, отчего ты говоришь лучше, чем пишешь?» Это, действительно, могло быть так, во-первых, потому, что учитель, взобрав себе в голову высокое мнение о развитости моих способностей по разговору, — причем его поражала живость мыслей, относительная их самостоятельность, — не мог быть так доволен сочинениями, где на первом для него плане была уже форма; во-вторых, для меня эта форма была тяжка, это были цепи, которые затрудняли естественные движения, наводили на меня тоску, необходимо отражавшуюся в сочинении: учитель задаст описание памятника Минину и Пожарскому, а я подумаю: «Ну, что же тут я стану описывать!» — и ударюсь в описание впечатлений, производимых этим памятником, в рассказ о событиях, в которых участвовали изображенные герои, — а учитель с упреком: «Задано было описание памятника, а ты из описания сделал повествование!» О, проклятые формы риторические! много они мне наделали неприятностей! Несмотря, однако, на это, Попов не уменьшал своего мнения о моих способностях. Однажды собрались учителя у одного из своих товарищей, Красильникова, преподававшего латинский язык в младших классах, подпили и разговорились; речь зашла о гимназии, об учениках; Попов начал хвалить меня и дошел до того, что сказал: «Ведь вы не знаете, господа! Ведь Соловьев просто гений!» Тут хозяин, Красильников, прервал его восторженную речь: «Полно, полно, Павел Михайлыч! Как это может быть! Положим, что Соловьев мальчик умный, с большими способностями, но может ли это быть, чтоб у нас в гимназии завелся гений?» На другой день ученики,

жившие у Красильникова и подслушавшие этот разговор, рассказали его для потехи целому классу. Прав ты, добрый старик, в своем наивном сомнении! Мог ли в самом деле завестись гений в русской гимназии в сороковых годах XIX века? И горе было бы ему, если б он завелся! Было в России просторное для гения время в XVIII и в первой четверти XIX века; но это золотое время прошло, и когда оно возвратится?

(Писано 15 ноября 1854 года).

Так прошли пять лет в гимназии; кроме несносных математических классов, эти пять лет прошли для меня чрезвычайно приятно; начиная с четвертого класса, я был уже первым учеником постоянно, любимцем учителей, красою гимназии; легко и весело было мне с узлом книг под мышкою отправляться в гимназию, зная, что там встретит меня ласковый, почетный прием от всех; приятно было чувствовать, что имеешь значение; приятно было, войдя в класс, направлять шаги к первому месту (ученики сидели по успехам и несколько раз в году происходили пересадки), остававшемуся постоянно за мной. «Не купи дом, купи соседа», — говорит пословица; и в этом отношении я был счастлив: постоянным моим соседом, т. е. учеником, постоянно занимавшим второе место, был Ладыгин, вместе со мною поступивший в третий класс и вместе со мною кончивший курс в гимназии: прекрасное, нравственное, кроткое, женственное существо. Он был воспитан в тихом, нравственном доме, среди многочисленной толпы сестер, и отсюда получил, как видно, женственный характер; он был очень прилежен и, в противоположность мне, имел способность и склонность к математике, очень часто помогал мне в уроках и в приготовлении к экзаменам своими объяснениями, но у него не было той развитости и той быстроты в обращении мысли около предмета, какими обладал я; главная причина тому — моя ранняя и относительно громадная начитанность, тогда как Ладыгин начал читать поздно, и читал вообще мало, без выбора. С самого начала Ладыгин признал мои преимущества и уступал мне безропотно первое место; эта уступка, отсутствие соперничества облегчили наши отношения, завязали дружбу, причем, разумеется, высшее нравственное значение имел он, а не я; он был более меня христианин, хотя я с ранних лет был пылкий

приверженец христианства, и в гимназии еще толковал, что буду основателем философской системы, которая, показав ясно божественность христианства, положит конец неверию. Внутри меня было много религиозности, выражавшейся в набожности; я ничего не начинал без молитвы; вера была сильная: не готов к отвратительному математическому уроку, не приготовился из некоторых частей науки к экзамену, помолюсь, крепко верую, что этого у меня не спросят, — и действительно не спрашивали; другой товарищ найдется в подобном положении, боится, что срежется (по гимназическому выражению) — говорю ему: «не бойся, только веруй»; молюсь за него, верую за него, — и его не спрашивают. Религиозности было много, но христианства было мало; успехи, первенство воздымали дух, высокое мнение о самом себе, развивали гордость, эгоизм; самую веру свою я считал привилегиею, особенным знаком Божьего благоволения, ручательством за будущие успехи. В виду были только эти успехи, успехи внешние, житейские, — о нравственном преуспеянии, о внутреннем мало думалось; говорю — о внутреннем, ибо извне-то было все чисто и чинно, я первенствовал и относительно поведения. Правда, находили и тут иногда минуты опамятования, когда я сознавал необходимость внутреннего нравственного совершенствования и решался внимательнее смотреть за собою, строго — за своими мыслями и словами, но такая решительность не бывала продолжительна: бури молодости срывали утлый челн с якоря. Так кончилось учение в гимназии; только что кончилось и мне 18 лет (июнь 1838 г.), я должен был держать выпускной экзамен в университет; в первый раз тогда наша гимназия пользовалась правом экзаменовать своих воспитанников у себя, тогда как прежде гимназисты должны были экзаменоваться вместе с другими в университете. Я был выпущен первым учеником с обязанностью писать рассуждение для акта и с правом получить за это серебряную медаль и быть записанным на золотую доску на вечные времена. Темой заданного мне рассуждения было: «О необходимости изучения древних языков для успешного изучения языка отечественного». Я должен был написать это рассуждение на вакации, важной в моей жизни не потому только, что это была последняя ученическая вакация, но особенно потому, что в это время впервые покинул я на несколько месяцев родительский дом и переселился в чужой. По окончании

экзаменов, инспектор Погорельский подозвал меня к себе и предложил — не хочу ли я ехать на вакацию в подмосковную деревню к кн. Г., учить его детей. Я согласился. И вот я в чужом аристократическом доме, среди чуждых для меня нравов и обычаев, среди чуждого народа, ибо среди чуждого языка: все, кроме прислуги, говорят вокруг меня по-французски, и молодых французиков, т. е. княжат, я обязан учить чуждому для них, а для меня родному языку — русскому, который они изучают, как мертвый язык. Тут-то я впервые столкнулся с этой безобразной крайностью в образовании русской знати и столкнулся в самый живой, впечатлительный возраст, в 18 лет! Понятно, какое сильное впечатление произвела на меня эта крайность и необходимо увлекла меня надолго, лет на шесть, в крайность противоположную, в славянофилизм, или, лучше сказать, руссофилизм. В селе Никольском, Урюпино тож, в 25-ти верстах от Москвы, по звенигородской дороге, я начал впервые свою гражданскую жизнь, ибо начал борьбу с одним из безобразных явлений тогдашней русской жизни. Опишу членов семейства князя и домочадцев из разных наций. Главное лицо сам князь — мужчина лет под 50, очень красивый и с претензиями на красоту и молодость, красящий волосы. По собственным рассказам его, он не получил никакого образования в пышном доме отца своего, потомка знаменитых Г., игравших такую важную роль при двух Петерах — I-м и II-м, получившего в наследство более 20.000 душ и оставившего сыну, моему знакомцу, не более 3.000 душ; остальное все было промотано, и, между прочим, великолепное село Архангельское, вотчина знаменитого олигарха Г., славного своей библиотекой. Архангельское перешло к князю Юсупову, и Г. должен был ограничиться низменным Никольским подле него. Сын вышел не в отца, не стал проматывать последних тысяч душ, напротив, отличался бережливостью, даже скупостью и вместе алчностью: «Кабы денег, побольше денег!» — вот слова, которые слышались очень часто из его уст. Этот человек родился с замечательными способностями; имел здравый смысл, большое остроумие, большой талант рассказывать, обладал литературным талантом, написал несколько повестей очень недурных; любил читать, уважал знание, людей знающих; иногда, при известных случаях, высказывались в нем жалобно не совсем задушенные еще благородные стремления: так, однажды, разбирая в своей библиотеке портреты знаменитых исторических лиц —

полководцев, министров, ученых, художников — он воскликнул с непритворной горестью: «Боже мой! Чем бы не пожертвовал, чтоб только быть в числе их!» Все эти счастливые наклонности были задавлены дурным воспитанием; он сам говорил: «Меня решительно ничему не учили; если я говорю свободно по-французски, то этот навык я приобрел сам после, в детстве же меня не учили даже и по-французски». После этого надобно было удивляться в этом человеке хорошим сторонам, а не дурным; в детстве его страсти не сдерживались нравственным воспитанием; религиозное воспитание состояло в том, что его заставляли ходить в церковь по известным дням: понятно, что французские книжки XVIII-го века легко заставили его смотреть на христианство, как на хорошую выдумку для мужиков. Что же могло сдерживать этого барина? Общественное мнение? Общественное устройство, законы? — но я сейчас приведу пример тому, как страсти русских помещиков сдерживались общественным устройством, законами. Однажды вечером, когда я сидел в своей комнате за книгами, гувернер, швейцарец Фарон, уложивши детей, вышел погулять, но скоро возвратился и пришел ко мне со следующим рассказом: «Только что я вышел в поле, как подходит ко мне мужик и предлагает мне свою дочь; я сначала остолбенел, потом стал упрекать его за такую страшную безнравственность; мужик отвечал: — Эх, батюшка! что ж нам делать-то? Ведь князь уж почал!» — и тут рассказал мне обычай, что, как скоро девушка в деревне достигает 15-ти лет, ее ведут к князю на растление, после чего она получает 50 рублей ассигнациями… С женой своей, урожденной княжной В., князь жил дурно, в чем трудно было его обвинить, ибо это была женщина нестерпимая, ограниченная, капризная, сварливая, скупая; но что было непростительно для князя, это то, что он, по страшной лени, отдал дражайшей своей половине воспитание детей, выбор учителей, гувернеров и гувернанток в полное распоряжение. С этой госпожою и я, несчастный, должен был иметь дело, выслушивать ее замечания относительно преподавания, делать экзамены в ее присутствии. Я должен был учить двоих княжат и княжну с воспитанницею; старший (Дмитрий) был мальчик лет тринадцати, до безобразия толстый, вялый физически и умственно: тринадцати лет он с трудом читал по-русски; гувернеры жаловались, что успехи его во французском и немецком языках были не блистательнее. К несчастию, это был любимец матери,

которая неуспехи сына приписывала не его неспособности и лени, но неуменью учителей, которые, будто бы, не хотели приноровиться к природе ученика. Он пошел в военную службу, вышел рано в отставку; после я с ним встречался: из него вышел красивый, очень приличный, скромный господин; младший был живее, его менее баловала мать, и потому он шел относительно успешнее. Но было еще двое старших сыновей: одного, воспитывавшегося в пажеском корпусе, я не знал; слышал только, что он дурно учился, выпущен был не в гвардию и скоро умер; самый старший, Николай, воспитывался в царскосельском лицее и вышел в 1-м разряде, т. е. с правом IX-го класса, равняющимся праву университетского магистра, а между тем познаниями своими был ниже посредственного ученика седьмого класса гимназии — доказательство, как вредно было это дворянское училище, которое детям знатных и богатых отцов давало право быть невеждами в сравнении с молодыми людьми низкого происхождения. Молодой лицеист был ограничен, ленив, эгоист, спускался гораздо ниже отца, который сильно жаловался на это понижение, хотя вообще молодой был еще довольно сносен. Таково было сиятельное семейство; к нему по языку примыкали французы и француженки, гувернеры и гувернантки, ибо члены семейства княжеского не иначе говорили между собою, как по-французски; я был в доме единственный русский не лакей, говоривший не иначе, как по-русски, и потому гувернантка-француженка, разливавшая чай, не иначе обращалась ко мне, как «m-r Russe»! Князья бессмысленно смеялись над этим, а я с гордостью 18-летнего мальчика провозглашал, что я вполне доволен этим названием, что оно для меня драгоценно, что для меня чрезвычайно лестно, если я один русский в доме, или, по крайней мере, русский по преимуществу. Меня пригласили давать уроки и после вакации, в Москве. Княгиня настаивала, чтоб я жил у них в доме, или, по крайней мере, оставался с ее детьми как можно долее; ей хотелось сделать нечто вроде переливания крови из здорового тела в больное; но я решительно от этого отказался: жизнь в чужом доме и еще в доме иностранном, французском, была бы для меня невыносима; притом какую тяжелую обязанность наложит на меня почтенная маменька, если я поселюсь подле ее детей; я всегда чувствовал страшное отвращение к должности гувернера и с хорошими детьми, не только что с кн. Г.; я никогда сам не был ребенком, и понятно, как тяжело, невозможно было для меня

делаться ребенком с детьми; я видел, что такое гувернерство отвлечет меня от студенческих занятий. Вот почему через два года княгиня нашла, что ее дети мало успевают со мной именно потому, что я ограничиваюсь одними урочными часами и не бываю чаще вместе с ними, и вот за мною уже не прислали больше осенью, по возвращении с дачи. Я имел еще другие уроки, и в последний год студенчества очень много, но дома, в которых я учил, не представляли нечего особенно замечательного, и потому обращаюсь к университетским впечатлениям.

VII

О попечителе графе Строганове я уже довольно говорил; помощником его был Дмитрий Павлович Голохвастов, человек, умевший, в противоположность Строганову, заслужить самое невыгодное о себе мнение в университете и обществе московском. Это был человек знающий, умный, честный и любивший честность в других, но ум этого человека отличался особенным складом, именно удивительной форменностью. Мы, прочие смертные, мыслим про себя и вслух, разговариваем и пишем, не обращая внимания на самый процесс нашего мышления, на его формы; тогда как у Голохвастова все внимание было обращено на формы мышления; в разговоре своем он хлопотал только об одном, чтобы мысли являлись в законной форме и чтоб эта форменность как можно яснее обнаружилась; отсюда разговор Голохвастова был крайне утомителен. Есть люди нестерпимые в разговоре; они стараются сделать свою речь украшенною тем, что не скажут слова просто; если есть такие фразеры, нестерпимые своей риторикой, то Голохвастов принадлежал к числу людей, которые встречаются гораздо реже, — людей нестерпимых своей логикой; эта логика в его разговоре являлась столь же изысканной, бездушной, как риторика у фразеров. При этом Голохвастов был страстный охотник говорить, т. е. затягивать мысли в форменное платье, в мундир и выводить их напоказ: вот как они правильно и стройно вытекают одна из другой, связываются и равняются; хотя эти правильность и стройность были часто видимые только, но Голохвостову не было до этого дела. В исторической литературе нашей Голохвастов прославился замечаниями по истории осады Троицкой Лавры, напечатанными в «Москвитянине», блестящей критической статьей; говорили, что он пользовался здесь чужими трудами и указывали на Забелина; но, зная хорошо Голохвастова, его приемы, я не усомнюсь приписать статью ему, — по крайней мере, главное в статье, построение ее, принадлежит ему. По политическим убеждениям своим Голохвастов был сильный охранитель; ему очень нравился существующий порядок вещей, дисциплина, чинопочитание; он много занимался историей своей фамилии, собрал и издал акты,

хранившиеся в фамильном архиве; замечания на историю Тройцкой осады написал он для того, чтобы защитить честь своих предков от наветов Палицына; когда я однажды в разговоре с ним упомянул об этой статье, то он с самодовольным видом сказал: «LAitallicpro domo sua pugnavimus». Но при этом в Голохвастове не было ничего аристократического; в нем была только русская барская спесь, что особенно и отталкивало от него университетских подчиненных, избалованных Строгановым. Голохвастов платил университету той же монетой; будучи помощником попечителя, а потом попечителем, он ненавидел университет, считал его учреждением опасным для существующего порядка вещей и не скрывал этих мнений своих; не советовал никому отдавать сыновей своих в университет и говорил, что своих никогда не отдаст туда, что все дворяне должны служить в военной службе, что предки их служили за поместья, когда же поместья были превращены в вотчины, то этим самым обязанность служить в военной службе не снялась, напротив, удвоилась. Своими понятиями и обращением Голохвастов больше чем кто-либо другой напоминал русского барина XVII-го или начала XVIII-го века, надевшего европейское платье, усвоившего даже себе европейскую науку, европейские языки, но в сущности остававшегося верным старине. Неуважение Голохвастова к подчиненным, или, по крайней мере, к большинству их, было возмутительно. Особенно дурную славу приобрел он при управлении округом между попечительством Голицына и Строганова, когда он, сообразно характеру своему, строгостями и отдачей студентов в солдаты, хотел сделать то, что при Строганове сделалось само собой, без всяких насильственных средств, чрез одно влияние благородной личности начальника, — именно исправление студенческих нравов. При Строганове Голохвастов был председателем цензурного комитета, и здесь явился притеснителем; особенно его строгость возбуждала негодование в сравнении с петербургской цензурой, отличавшейся тогда свободой. Наконец, в наружности Голохвастова было много отталкивающего: его фигура выражала спесь, натянутость, форменность; это была фигура красивого, рисующогося квартального, который понимает свое высокое значение на публичном гуляньи пред толпой черни. Голохвастов был известен своим конским заводом; на скачках

славилась его великолепная лощадь Бычок, и вот из университетских стен явилась эпиграмма:

Вместо Шеллингов и Астов
И Пегаса старичка,
Дмитрий Павлыч Голохвастов
Объезжает нам Бычка.

Ректором был М. Т. Каченовский. Об ученом значении этого человека я не буду распространяться, потому что исчерпал этот предмет в биографии Каченовского, напечатанной мною в Биографическом Словаре профессоров университета, изданном по случаю столетнего юбилея. В то время, как я был в университете и слушал Каченовского, это уже был старик ветхий; читал он уже не русскую историю, а славянские наречия, предмет, при разработке которого он не мог оказать ученых заслуг ни по летам, ни по приготовлению своему; скептицизм проглядывал и тут при каждом удобном случае; любопытно было видеть этого маленького старичка с пергаментным лицом на кафедре: обыкновенно читал он медленно, однообразно, утомительно; но как скоро явится возможность подвергнуть сомнению какой-нибудь памятник письменности славян или какое-нибудь известие — старичок вдруг оживится и засверкают карие глаза под седыми бровями, составлявшие единственную красоту у невзрачного старика. Сохранилось у меня в памяти одно из свидетельств, приведенных Каченовским против подписи на тьмутараканском камне: «Да вот и государь император Николай Павлович, как взглянул на нее, так и сказал: — Это, должно быть, подложная надпись!» Каченовский мог служить лучшим опровержением мнения, что ученый скептицизм ведет необходимо к религиозному и политическому; не было человека более консервативного в том и другом отношении. Скептицизм научный отражался, впрочем, в жизни Каченовского мнительностью, крайней осторожностью, чрезмерным страхом пред ответственностью: так, например, он никогда не брал на дом книг из университетской библиотеки, боясь, чтоб они каким-нибудь непредвиденным образом не пропали у него; каждое дело, каждая бумага по управлению

встречали с его стороны возражения: «Да как же это так, да зачем же это так?» и т. п. Во всех отношениях общественной служебной жизни своей Каченовский был честный человек; полемика его против Карамзина и Пушкина доставила ему много врагов. Говорили, что император Николай, при выборе инспектора классов к наследнику, обратил внимание на Каченовского, говоря, что уважает этого ученого, по журналу которого он выучился читать по-русски; но карамзинисты помешали Каченовскому, выставивши на вид его вредное направление, скептицизм, чем, разумеется, легко могли напугать охранительнейшего императора. По поводу Пушкина профессор Крюков рассказывал любопытный разговор свой с Каченовским: зашла речь о языке, которым должна писаться история; Каченовский, как следует ожидать, вооружился против украшенного слога, против риторики, поднимающей на ходули события и лица, при чем сказал: «Один только писатель у нас мог писать историю простым, но живым и сильным, достойным ее языком — это Александр Сергеевич Пушкин, давший превосходный образец исторического изложения в своей „Истории Пугачевского бунта“». Конечно, этот отзыв был произнесен по смерти Пушкина; конечно, по смерти уже Карамзина Каченовский написал разбор XII тома, — но всякий ли способен и по смерти врага сделаться беспристрастным в отношении к нему, у всякого ли достанет духа похвалить и умершего врага? Под старость Каченовский уже не мог продолжать полемики с Погодиным, который, однако, не переставал нападать на него и, по обычаю своему, позволял себе грубые выражения на его счет; старика сильно это оскорбляло; со слезами на глазах он жаловался на оскорбления и на невозможность отвечать оскорбителю, который трубит победу. Сильно оскорбляла также старика Венелинская школа, — стремление все ославянить, сделать славян древнейшим и славнейшим народом мира: не имея сам средств ратовать против этого, по его мнению, вредного и нелепого направления, Каченовский приглашал молодого Грановского образумить ослепленных; но Грановский отказался подвизаться на этом неблагодарном поприще.

Деканом факультета был И. И. Давыдов. Это был человек бесспорно очень даровитый, способный к многосторонней деятельности, могший принести большую пользу науке, если бы посвятил ей всего себя; но он посвятил всего себя для удовлетворения

одной страсти — честолюбия, и честолюбия самого мелкого; мало того, что, думая, хлопоча только о почестях — он пренебрег наукой, скоро сделался ученым отставшим, он продал дьяволу свою душу, ибо для достижения почестей считал все средства позволительными: нипочем было ему очернить человека, загораживавшего ему дорогу, погубить его в общественном мнении; нипочем ему было унизиться до самой гнусной, невообразимой лести пред человеком сильным и пред лакеями человека сильного, не обращая никакого внимания на умственные и нравственные достоинства человека, уважая только людей сильных, могущих быть ему полезными или вредными. Не имея ни веры, ни совести, этот человек, смотря по надобности, притворялся самым благочестивым: равнодушный к вере с равнодушным к ней министром Уваровым, он благоговейно молился на коленях с набожным министром Ширинским-Шихматовым. Однажды ему нужно было снискать благосклонность некоторых богомольных барынь; вот он явился в их общество, ходя по комнате, пошел в карман за платком, и как будто бы ненарочно, выронил из кармана маленькую книжку; ему ее подняли, и любопытные барыни спросили, что это за карманная книжка у профессора: оказалось, что это Фомы Кемпийского — «О подражании Христу»! Этот любитель Кемпийского встретил на своей дороге Каченовского; чтобы повредить ему, он прикинулся ему другом, стал беспрестанно к нему ездить и уговорил его посещать клуб, стал увлекать его туда беспрестанно — и это-то была главная цель его дружества; он начал с сожалением рассказывать всем и каждому, что вот какое несчастье! такой достойный ученый, как Каченовский, пристрастился к клубу, к игре, покинул семейство, науку, и он, Давыдов, из дружбы к нему, следит за ним, не покидает его, ища случая отвратить от погубной страсти. Жалкое зрелище представлял из себя Давыдов, когда ждал чина или ордена; беспокойство и волнение его не имели границ; даже узнав, что представление подписано императором, Давыдов не мог успокоиться, спрашивал, не может ли случиться, что курьера, везущего орден или чин, постигло какое-нибудь несчастие на дороге, и не может ли этот случай отдалить новое представление на неопределенное время, не бывало ли тому прежде примеров? Получив первую звезду, Станислава, Давыдов не постыдился объявить, что высшие ордена производят удивительное влияние, что он чувствует себя нравственно лучше, выше, получивши

звезду. Получив орден Владимира 2-й степени, он встретился с профессором Никитенко и начал внушать ему, что во всей России чрезвычайно мало людей, которые бы имели владимирскую звезду в чине действительного статского советника. Но что было в Давыдове хуже всего — это страшная мстительность; пресмыкаясь пред сильными, он требовал пресмыкания перед собою от всех, которые были ниже, слабее его, и горе человеку, в котором он заподозрит чувства, враждебные к себе или, по крайней мере, недостаток раболепства; понятен вред, который причинял Давыдов своим характером: понятно, что нашлось много людей, которые соглашались пред ним раболепствовать, получали чрез него места, выгоды, — и все это были люди дрянные; люди порядочные, не соглашавшиеся пред ним раболепствовать, подвергались гонению. Страшно вредно было его деканство тем, что он из низких видов явно оказывал поблажку студентам «отецким детям», выводил их, давал высшие баллы, высшие степени не по достоинству, в предосуждение другим, более достойным, но от которых декан не надеялся получить ничего; при страшном честолюбии Давыдов не оставлял удовлетворять и другой страсти — корыстолюбию: он сильно пользовался казенным добром, когда был инспектором университетского пансиона, любил брать и от студентов, т. е. от их родителей, богатые подарки в благодарность за покровительство сынкам; в воспитанниках университетского пансиона он оставил по себе еще более тяжелое воспоминание… В заключение, приведу стихи, которые очень верно характеризуют Давыдова:

П….. из чести и из видов,
Душеприказчик старых баб,
Иван Иванович Давыдов
Ивана Лазарева [1] раб.
Душа полна стяжанья мукой
Полна проектов голова,
И тащится он за наукой,
Как за Минервою сова.

Я должен был слушать Давыдова с первого курса, и слушал очень долго, потому что второй профессор словесности, Шевырев, был в это

время за границей. Содержанием лекций Давыдова было то, что уже мы знали из напечатанного в его чтениях о словесности; книга известна, следовательно, мне не нужно распространяться о ее достоинстве. Но Давыдову не хотелось читать слово в слово по книге, и потому он прибег к средству, возможному только для него: именно, целый год переливал из пустого в порожнее; все лекции состояли из набора слов для выражения известного и переизвестного уже; студенты слушали сначала со вниманием, ожидая, что же выйдет под конец, но под конец ничего не выходило, и потому курсу Давыдова дали название: «Ничто о ничем, или теория красноречия». К счастию, почтенный профессор избавлял студентов от большого утомления следующим средством: ему нужно было читать два часа сряду, но он приходил в половине первого часа и уходил в половине второго, и читал только час.

Вторым профессором словесности был, как я уже сказал, Шевырев; Давыдов читал теорию словесности, Шевырев — историю литературы вообще и русской. Шевырев наконец приехал из-за границы, мы перешли к нему от Давыдова и попали из огня да в полымя: Давыдов из «ничто» умел делать содержание лекции; Шевырев богатое содержание умел превратить в ничто, изложение богатых материалов умел сделать нестерпимым для слушателей фразерством и бесталанным произведением известных воззрений. Тут-то услыхали мы бесконечные рассуждения, т. е. безконечные фразы о гниении Запада, о превосходстве Востока, русского православного мира. Однажды после подобной лекции Шевырева, окончившейся страшной трескотней в прославление России, студент-поляк Шмурло подошел ко мне и спросил: «Не знаете ли, сколько Шевырев получает лишнего жалованья за такие лекции?» Так умел профессор сделать свои лекции казенными. Способность к казенности и риторству уже достаточно рекомендует человека; взгляните на его портрет — весь человек тут. В сущности это был добрый человек, не ленивый сделать добро, оказать услугу, готовый и трудиться много; но эти добрые качества заглушались страшной мелочностью, завистливостью, непомерным самолюбием и честолюбием и вместе способностью к лакейству; самой грубой лести было достаточно, чтобы вскружить ему голову и сделать его полезным орудием для всего; но стоило только немного намеренно или ненамеренно затронуть его самолюбие, и этот

добрый мягкий человек становился зверем, готов был вас растерзать и действительно растерзывал, если жертва была слаба; но если выставляла сильный отпор, то Шевырев долго не выдерживал и являлся с братским христианским поцелуем. Эта-то задорливость, соединенная с слабостью, всего более раздражала против Шевырева людей крепких, вселяла в них к нему полное отвращение, презрение. Хороши стихи, написанные на Шевырева Каролиной Павловой хотя они далеко не определяют еще вполне его характера:

Преподаватель христианский,
Он верой тверд, душою чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист;
И скромно он по убежденью
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренью
Один лишь ближнего успех.

Основа недостатков Шевырева заключалась в необыкновенной слабости природы, природы женщины, ребенка, в необыкновенной способности опьяняться всем, в отсутствии всякой самостоятельности. Нельзя сказать, чтобы он вначале не обнаружил и таланта; но этот талант дан был ему в чрезвычайно малом количестве, как-то очень некрепко в нем держался, и он его сейчас израсходовал, запах исчез, оставив какой-то приторный выцвет. Шевырев как был слаб пред всяким сильным влиянием нравственно, так был физически слаб пред вином, и как немного охмелеет, то сейчас растает и начнет говорить о любви, о согласии, братстве и о всякого рода сладостях; сначала, в молодости, и это у него выходило иногда хорошо, так что однажды Пушкин, слушая пьяного оратора, проповедующего довольно складно о любви, закричал: «Ах, Шевырев! зачем ты не всегда пьян!»

От Шевырева приятно перейти к профессору, который произвел на меня самое сильное впечатление на первом курсе, именно к Крюкову. Крюков когда я вступил в университет, читал латинский язык на трех старших курсах и древнюю историю на первом. У Крюкова, как у всех самых даровитых профессоров русских, но занимающихся

науками, разработанными на Западе, не было самостоятельности; он пользовался результатами, добытыми германскими учеными, своими учителями, читал преимущественно под влиянием Гегеля; но у Крюкова был блестящий талант в изложении, блестящий и вместе твердый, не допускавший фразы, представлявший этим противоположность Шевыревскому таланту. Крюков, можно сказать, бросился на нас, гимназистов, с огромной массой новых идей, с совершенно новой для нас наукой, изложил ее блестящим образом, и, разумеется, ошеломил нас, взбудоражил наши головы, вспахал, взборонил нас, так сказать, и затем посеял хорошими семенами, за что и вечная ему благодарность. Второй курс мы слушали его уже, как профессора латинской словесности, и здесь он был превосходен, обладая в совершенстве латинской речью и силою своего таланта возбуждая в нас интерес к экзегезису, столь важному для изучения отечественных памятников; привлекательности речи Крюкова, как латинской, так и русской, помогал очень много необыкновенно приятный, звучный орган, на котором он очень искусно умел играть, как на инструменте; до сих пор (29-го мая 1855 года) еще не встречал человека, который бы умел так играть на своем голосе, приводить его в такую гармонию с мыслью, с рассказом своим; некоторые лекции — например, о Таците — он потом напечатал; но в книге это было не то, потому что обаяние уже исчезло.

Когда мы перешли на второй курс, то приехал из-за границы профессор Грановский, начавший читать среднюю и новую историю. Грановский, как и Крюков, не был самостоятелен, явился поклонником также Гегеля, но был художник первоклассный в историческом изложении. Между талантом Крюкова и талантом Грановского была такая же большая разница, как и между их наружностью: Крюков имел чисто великороссийскую физиономию, круглое, полное лицо, белый цвет кожи, светлорусые волосы, светлокарие глаза; талант его более поражал с внешней стороны, поражал музыкальностью голоса, изящной обработкой речи, к нему, как нельзя более, шло прилагательное LAelegantissimus, как мы, студенты, его величали; но при этой элегантности, щегольстве, в нем самом, в его речи, в чтениях было что-то холодное; его речь производила впечатление, какое производит художественное изваяние. Грановский имел малороссийскую южную физиономию; необыкновенная красота его

производила сильное впечатление не на одних женщин, но и на мужчин. Грановский своею наружностью всего лучше доказывает, что красота есть завидный дар, очень много помогающий человеку в жизни. Он имел смуглую кожу, длинные черные волосы, черные огненные, глубоко смотрящие глаза. Он не мог, подобно Крюкову, похвастать внешней изящностью своей речи: он говорил очень тихо, требовал напряженного внимания, заикался, глотал слова, но внешние недостатки исчезали пред внутренними достоинствами речи, перед вунутренней силой и теплотой, которые давали жизнь историческим лицам и событиям и приковывали внимание слушателей к этим живым, превосходно очерченным лицам и событиям. Если изложение Крюкова производило впечатление, которое производят изящные изваяния, то изложение Грановского можно сравнить с изящной картиной, которая дышит теплотой, где все фигуры ярко расцвечены, говорят, действуют пред вами. И в общественной жизни между этими двумя людьми замечалось то же различие: оба были благородные люди, превосходные товарищи; но Крюков мог внушать только большое уважение к себе, не внушая сильной сердечной привязанности, ибо в нем было что-то холодное, сдерживающее; в Грановском же была неотразимая притягательная сила, которая собирала около него многочисленную семью молодых и немолодых людей, но, что всего важнее, людей порядочных, ибо с уверенностью можно было сказать, что тот, кто был врагом Грановскому, любил отзываться о нем дурно, был человек дурной. Я сказал: кто любил отзываться о нем дурно; ибо и люди самые привязанные к нему должны были иногда с горем порицать его в глаза и за глаза: лень заставляла его закапывать свой блестящий талант; с необыкновенной легкостью проглатывая чужое и претворяя это чужое в свою собственность, Грановский с величайшим трудом мог заставить себя взять перо в руку; он оправдывал себя перед собою и перед другими тем, что нельзя было ничего печатать, благодаря русской цензуре, особенно с 1848–1855 года, но это оправдание не удовлетворяло ни других, ни его самого: печатать было можно и в это страшное время, еще легче было печатать прежде и после него. Грановский женился очень рано на превосходной женщине, дочери доктора Мюльгаузена, сестре профессора, нашего товарища, но детей не имел. Это обстоятельство, разумеется, много способствовало его лени,

беспечности; потом я уже сказал, что он был постоянно окружен толпою людей, с которыми весело было проводить дни, ночи, от остроумной, веселой беседы с которыми трудно было оторваться для кабинетного труда…

VIII

После Грановского и Крюкова самым замечательным профессором нашего факультета был Александр Иванович Чивилев, преподававший политическую экономию и статистику. Это был gentleman в наружности и манерах, честный, точный в исполнении своих обязанностей, умный и часто зло-остроумный человек, и если не холодный, то, по крайней мере, холодноватый. Политическая экономия меня не так занимала; эта наука была для меня слишком жидка, хотя изложение Чивилева, в научном отношении, кажется, было безукоризненно; гораздо больше удовольствия и пользы доставили мне его лекции о статистике, особенно та часть их, где говорилось о природе стран, о ее значении в жизни народов. Греческий язык на первом и втором курсах преподавал В. И. Оболенский, с которым я уже был знаком по гимназии, где он с начала моего поступления преподавал русский язык, а потом латинский. Оболенский был человек знающий, охотник читать, заниматься, но бездарный и полусумасшедший. В гимназии он так учил русскому языку: придет в класс и вызовет какого-нибудь ученика говорить урок от доски до доски по книге, потом вызовет кого-нибудь говорить стихи, и в этом проходит весь класс. В университете он мог бы быть полезным на низших курсах, занимаясь переводами авторов, но он вредил делу тем, что не мог внушить к себе никакого уважения в слушателях, которые смеялись над ним, над его странными речами, в которых, начавши за здравие, он сводил за упокой, ибо мысли, иногда здравые, никогда не клеились в его голове одна с другой; потом он вредил преподаванию крайней слабостью, неуменьем требовать от студентов приготовления к переводу. Строганов видел его неспособность и насилу додержал его до срока пенсии, чтоб не лишить бедного старика куска хлеба. На высших курсах преподавал греческий язык А. И. Меншиков, человек бездарный, невыносимый на лекциях и также с головою не очень стройно организованною. Строганов хлопатал, чтобы его выжить из университета, но никак не мог. Еще до выхода Оболенского был приглашен для греческой кафедры немец Гофман. Это был человек не без дарования, могший с пользою преподавать греческий язык,

особенно если сравнивать его с Оболенским и Меншиковым, но немец не понимал своего положения в русском университете. И поступавшие в университет ученики гимназии не были достаточно приготовлены в греческом языке, тем менее ученики, поступавшие из других приготовительных заведений и из родительских домов; при приемных экзаменах утвердилось вредное правило, что нельзя строго требовать греческого языка, ибо это предмет трудный, отвращающий многих от поступления на историко-филологический факультет. Видя неприготовленность студентов, Гофман подумал, что им нельзя преподавать по-университетски, а надо по-гимназически, и начал душить нас на грамматике, на ее тонкостях; но что русскому здорово, то немцу смерть и наоборот. Русский студент 18-ти, 20-ти лет и больше и не имеющий в виду быть греческим учителем, занимающийся другими предметами, хочет приобресть возможность читать, как можно легче, греческих авторов, для чего ему нужно постоянное упражнение, — и вместо того, пробывши несколько лет в университете, посещая почти каждый день греческие лекции, он видит, что не может прочесть ни одной странички Геродота без лексикона, потому что лекции проводятся в толкованиях о различных оттенках частицы.

Это студентам сильно наскучило; многие из них перестали ходить на лекции; другие, сидя на лекциях, не слушали о частице [2] и, по окончанию курса почти все вышли с такими знаниями греческого языка, с какими вошли в университет; метода Гофмана объяснялась еще и тем, что он преимущественно занимался грамматикой, давал уроки, чтобы приготовлять к экзегезису; занять же внимание слушателей и принести им пользу он не имел времени, и потому потчивал их одной грамматикой.

Русскую историю мы слушали на четвертом курсе у М. П. Погодина. Сколько прекрасная наружность Грановского приносила ему пользы, гармонируя с его художественным преподаванием, привлекая к нему женщин и мужчин, столько же вреда приносила Погодину его наружность, имевшая в себе, кроме дурного, еще отталкивающее. Мы пришли слушать Погодина с предубеждением относительно его нравственных качеств; он славился своей грубостью, цинизмом, самолюбием и особенно корыстолюбием. Есть много людей, которые так же самолюбивы и корыстолюбивы, как Погодин,

но не слывут такими именно потому, что у Погодина душа нараспашку; что другой только подумает, — Погодин скажет; что другой подумает или только скажет, — Погодин сделает. Другие так же корыстолюбивы, но скрывают этот недостаток или обнаруживают его не так легко, а Погодин, мелочный торгаш, любит даровщинку, любит не дать, не додать; выпустить деньгу из рук для него очень тяжело, хотя бы он и знал, что вперед будут барыши; Погодин сам признается, что он корыстолюбив, и жалуется: «Вот люди! Имей какой-нибудь недостаток, так уж они и привяжутся к нему, и никогда не будешь ты у них порядочным человеком, хотя бы при этом недостатке имел и большие достоинства». Но в том-то и дело, что у Погодина не было больших достоинств, хотя и было достоинство довольно редкое в русском человеке, в наше время и в нашем обществе, качество, которое он вынес из своей прежней среды (о происхождении своем он не упомянул в своей автобиографии, потому и мы молчим о нем), именно смелость, качество первобытного, простого русского человека: смелым Бог владеет — авось! — и идет напролом. Смел он на доброе дело, — например, написать правду о делах управления и подать ее в руки царю; — смел и на то, чтобы сейчас же попросить денег у правительства, которое знает, что он богат, и тем обнаружить свое корыстолюбие, потерять уважение, приобретенное-было смелым добрым делом; смел и на то, чтобы, будучи в Брюсселе, зайти к Лелевелю — засвидетельствовать ему свое уважение; смел и на то, чтоб надуть человека, имеющего голос, значение в обществе, человека, следовательно, опасного; смел на то, чтоб обругать своего противника печатно без соблюдения приличий; «смел на то, чтоб вредить врагу всякими средствами». Я сказал: смел на доброе дело; значит, в нем было побуждение и к добрым делам; это не был Давыдов, способный только на одни низости, хотя, с другой стороны, и Давыдов не так оскорблял своим поведением, как Погодин, ибо у Давыдова не было такого цинизма, такого неряшества нравственного, как у Погодина. Человек отражался в писателе и в профессоре. Погодин менее всего был призван быть профессором, ученым; его призвание — политический журнализм, палатная деятельность или — к чему он еще более годился — площадная деятельность. Это был Болотников во фраке министерства народного просвещения; заметим, что последнее должно было сильно смягчить первое, и действительно смягчало.

Человек низкого происхождения, но живой, умный, он в молодости увлекся на поприще, которое одно в России имеет характер публичности, соединено с шумом, движением, обольщающим живых молодых людей, поприще литературное и университетское. Он стал писать повести, издавать журнал, заниматься историей всеобщей и русской, особенно последней, вошел в литературный круг. К постоянным ученым кабинетным занятием одним предметом Погодин не был способен от природы и не мог приучить себя в молодости при указанном разнообразии своих занятий; вот почему в русской истории явился он наездником сначала очень счастливым; в споре о происхождении варягов подметил, где твердая почва, схватился за Скандинавию, распространил Байера и явился главою скандинавцев; в споре о летописях подметил, что у скептиков золотая голова и глиняные ноги, и начал бить по ногам, живостью, задором опередил мешковатого Буткова и стал главою школы несторианцев. Но здесь я коснусь его ученого поприща. Легко добывши себе громкое имя двумя диссертациями и несколькими журнальными статейками, Погодин засел в варяжский период, остановился здесь; вследствие прекращения движения явилась плесень. Погодин ничего не ведал дальше варягов, дошел до нелепых крайностей, запутался, завяз, ибо только широкое движение по целому обширному предмету освобождает ученого от пристрастий, спасает от крайностей, необходимого следствия тесноты горизонта, производящей ученую близорукость; крича, что другие ничего не делают, задавая молодым людям предметы для занятий, Погодин сам ничего почти не делал для русской истории, а между тем утвердился во мнении, что он — во главе людей, занимающихся русской историей; все обстоятельства, к несчастью его, содействовали к укреплению этого убеждения: Каченовский ослабел и умер, Строев (Сергей Скромненко) умер, Венелин умер; мнения последнего нашли себе защитников и развивателей в таких людях, с которыми легко было бороться — в Морошкине, в Савельеве-Ростиславиче и т. п.; поле, следовательно, осталось за Погодным, и он трубил победу; огромная библиотека, им собранная, заставляла его думать, что в его руках все сокровища русской истории, что молодые люди могут заниматься ею только с его позволения, с его благословения, хотя сам он меньше всякого другого имел понятие о своей библиотеке, особенно о древних рукописях; наконец, связь его с славянскими учеными, которые

обходились с ним с чрезвычайным уважением, ибо он посылал к ним книги и деньги, давали ему видное место в целом ученом славянском мире.

Но этот пророк не был признан в своем отечестве; в московском университете ему было не очень ловко. Во-первых, лекции его не могли возбудить в студентах восторга, сделать из них жарких поклонников. Вот, как он читал: сначала месяц, другой, посвящал славянским древностям, которые читались буквально по Шафарику; потом переходил профессор к подробному рассмотрению вопросов о достоверности русских летописей и о происхождении варягов-Руси, т. е. прочитывались обе свои диссертации. После этого, времени оставалось уже немного; это остальное время Погодин проводил в том, что приносил Карамзина и читал из него разные места, но самыя слабые и вместе значительные по предмету, требовавшие пояснений, дополнений; этого Погодин, кроме варяжского периода, сделать был не в состоянии, ибо все, что выходило по русской истории, драгоценные издания Археографической Комиссии, для него не существовали; он выбирал из Карамзина места красивые, превращал лекцию русской истории в лекцию риторики, — так, например, читал с восторгом Карамзинское описание Тамерлановых походов и требовал от слушателей, чтоб и они также восторгались этим описанием; потом обращал внимание слушателей и заставлял их восторгаться искусством Карамзина в переходах от рассказа об одном событии к рассказу о другом; главная его цель при этом была убедить студентов, что русская история интересна, что она не хуже какой-нибудь другой, французской и английской; иногда, очень редко впрочем, приносил и летописи, читал из них места; — так, например, он прочел нам знаменитое место о споре владимирцев с ростовцами по смерти Андрея Боголюбского. Но какая же была цель этого чтения? — Показать, что вот и в русской истории бывали события вроде западных, являлись на сцену города, граждане, выбирали князей и прочее. Так отрывками добирался Погодин до 1612 года и здесь — по крайней мере, на нашем курсе — остановился. Кроме того, значительная часть лекций посвящалась разговорам со студентами, указаниям, что вот чем надобно заниматься, — изложить историю сословий, историю княжеств, историю городов и прочее, в чем, разумеется, студенты соглашались; но главное, как это делать, об этом

не было помину; развивал Погодин притом свою любимую тему, что молодые люди самолюбивы, не хотят бескорыстно трудиться на стариков: «Ведь вот никто из них не пойдет к старому ученому дрова носить», — так выражался Погодин, разумея под дровами черную ученую работу, приискивание мест в источниках и т. п. Все эти разговоры были забавны, но нисколько не привлекали сердца слушателей к Погодину; смешно было видеть человека самого самолюбивого, жалующегося на самолюбие других, человека корыстолюбивого, требующего бескорыстия от других. Таковы были отношения Погодина к студентам; со старыми товарищами своими, профессорами, Погодин еще сходился, с некоторыми был даже дружен по отношениям молодости, — например, с Шевыревым, Кубаревым; но когда приехала толпа новых профессоров из-за границы, Крюков с товарищами, то между ними и Погодным началась явная вражда; вражда эта происходила прежде всего из того, что манеры Погодина, его цинизм произвели самое неприятное впечатление на этих новичков, привыкших к совершенно другим манерам; потом эти господа поонемечились, LAjurabant in verba magistrorum, и так как сначала главное право их на места, главное достоинство их состояло в заграничном образовании, то естественно, что они гордились этим достоинством, превозносили все тамошнее в ущерб здешнему; это задело за живое Погодина, представителя славянофилизма в университете: он стал называть молодых русских профессоров немцами и даже говорить, что онемеченный русский гораздо хуже, вреднее для России, чем немец, что от посылки молодых русских ученых за границу происходит страшное зло для университетов и прочее. Понятно, какие приятные чувства возбудили в молодых профессорах подобные мнения; их вражда разгорелась, и тем менее они могли щадить Погодина, что характер этого защитника Руси не мог внушить им никакого уважения. Граф Строганов, назначенный попечителем, нашел университетский корпус в плачевном состоянии, именно в таком же, в каком нашел и гимназии, и в университете произвел такой же благодетельный переворот, как и в гимназии. Большая часть профессоров были люди бездарные, отсталые, с нелепыми выходками и привычками, подвергавшиеся вследствие того насмешкам студентов; мы уже с трудом могли верить рассказам наших предшественников до-строгановских о том, что позволяли себе

Смирновы, Маловы, Шедритские, Снегиревы на лекциях и экзаменах. Строганов выгнал их всех и заместил кафедры новоприбывшими из-за-границы учеными; отсюда понятно, что он связал свое дело неразрывно с делом последних, которые нашли в нем покровителя и проводителя их мыслей и планов; отсюда понятно, как он смотрел на эти остатки старины — на Погодина, Шевырева, Давыдова; он держал их в университете по авторитету, какой они успели приобрести, и по неимению людей, которыми бы можно было их заменить, ибо для кафедры русской истории и русской словесности не посылали молодых людей за границу, а свои еще не подросли; на ученые достоинства этих господ Строганов смотрел чрез очки молодых профессоров, — следовательно, не очень уважал эти достоинства; кроме того, он их раскусил с первого раза и возненавидел их, как людей; он начал презирать Давыдова, из-за ордена и чина готового на всякую гнусность; Шевырева — как человека мелкого и вместе задорного, несносного; Погодина — как корыстолюбивого, грязного холопа и, вместе с тем, дерзкого, надменного; закаленный аристократ Строганов сейчас же враждебно оттолкнулся от демократа Погодина, демократа-блузника Болотникова во фраке министерства народного просвещения. Трое этих господ, с придачею еще четвертого, Перевощикова, преподавателя очень способного, но человека грубого, не умевшего разбирать средства для достижения целей, видя отвращение от себя попечителя, бросились к министру Уварову, врагу Строганова. Уваров был человек бесспорно с блестящими дарованиями, и по этим дарованиям, по образованности и либеральному образу мыслей, вынесенным из общества Штейнов, Кочубеев и других знаменитостей Александровского времени, был способен занимать место министра народного просвещения, президента академии наук etc.; но в этом человеке способности сердечные нисколько не соответствовали умственным. Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно-аристократического; напротив, это был слуга, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I-го), но оставшийся в сердце слугою; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтоб угодить барину (императору Николаю); он внушил ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, т. е. слова:

православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя в Христа даже и по-протестантски; самодержавие — будучи либералом; народность — не прочитав в свою жизнь ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки. Люди порядочные, к нему близкие, одолженные им и любившие его, с горем признавались, что не было никакой низости, которой бы он не был в состоянии сделать, что он кругом замаран нечистыми поступками. При разговоре с этим человеком, разговоре очень часто блестяще умном, поражали однако крайнее самолюбие и тщеславие; только, бывало, и ждешь — вот скажет, что при сотворении мира Бог советовался с ним насчет плана. Понятно, как легко было поймать в свои сети такого самолюбивого и тщеславного человека людям, — подобным Давыдову; стоило только льстить, кадить целый день; и вот Давыдов овладел полной доверенностью Уварова; другим средством, к приобретению доверенности и расположения Уварова для Давыдова, равно как для Погодина, Шевырева и Перевощикова, была вражда к Строганову, ибо последний знал Уварова, как он есть, презирал его, как грязного человека, и по характеру своему не скрывал этого презрения. Мне говорили, что была еще сильная причина ненависти: Уваров имел связь с мачихою Строганова — отсюда ненависть между министром и попечителем, вредившая так много московскому университету и округу и поведшая к такой печальной для них развязке.

IX

Все эти университетскиие отношения (1838–1842 гг.) имели большое влияние на меня, на мою будущность. Я говорил уже, с какою страстью в отрочестве предавался чтению Карамзина. Это было еще до вступления в гимназию; в гимназии и в университете я почти не дотрагивался уже до Карамзина, ибо он не представлял более для меня ничего нового; в университете я занялся всеобщей историей вследствие толчка, данного Крюковым и Грановским; но время проходило не столько в изучении фактов, сколько в думании над ними, ибо у нас господствовало философское направление; Гегель кружил всем головы, хотя очень немногие читали самого Гегеля, а пользовались им только из лекций молодых профессоров; занимавшиеся студенты не иначе выражались, как гегелевскими терминами. И моя голова работала постоянно; схвачу несколько фактов и уже строю на них целое здание. Из Гегелевских сочинений я прочел только «Философию истории»; она произвела на меня сильное впечатление; на несколько месяцев я сделался протестантом, но дальше дело не пошло; религиозное чувство коренилось слишком глубоко в моей душе, и вот явилась во мне мысль — заниматься философией, чтоб воспользоваться ее средствами для утверждения религии, христианства; но отвлеченности были не по мне; я родился историком. В изучении историческом я бросался в разные стороны, читал Гиббона, Викко, Сисмонди; не помню, когда именно попалось мне в руки Эверсово «Древнейшее право Руссов»; эта книга составляет эпоху в моей умственной жизни, ибо у Карамзина я набирал только факты; Карамзин ударял только на мои чувства, Эверс ударил на мысль; он заставил меня думать над русской историей. С большим запасом фактов от Карамзина и с роем мыслей в голове, возбужденных Гегелем, Вико, Эверсом, я вступил на четвертый курс и стал слушать Погодина. Понятно, что его лекции не могли меня удовлетворить, ибо они не удовлетворяли и товарищей моих, хуже меня приготовленных. Бывало, он начнет что-нибудь читать по Карамзину, а я ему подсказываю: «Вот тут-то Михаил Петрович, в примечаниях есть еще важное указание».

Товарищи прозвали меня суфлером Погодина, и он сам обратил на меня внимание; внимание это усилилось, когда я подал ему сочинение о первых веках русской истории или экзегезис известной начальной летописи, где опровергнул несколько его положений. И вот однажды Погодин с кафедры обратился ко мне и сказал: «Г. Соловьев! Зайдите когда-нибудь ко мне». Я явился к нему, принят был благосклонно. Первый вопрос: «Чем вы особенно занимаетесь?» Ответ: «Всем русским, русской историей, русским языком, историей русской литературы». В последний университетский год действительно таково было направление моих занятий. Крюков, которого заинтересовало мое сочинение о египетской истории, хотел было переманить меня на древнюю почву: «Г. Соловьев! — объявил он мне громко при всех: — я ношу ваше сочинение в кармане, не могу с ним расстаться». Потом он говорил моему отцу: не хочу ли я преимущественно заняться древностями? Я поступил, быть может, неучтиво, ничего не отвечая ему на эти заманивания, ибо я знал, что дело пойдет не об одной древней истории, но также и о патрикуле, и о метрике; я знал, что должен буду заниматься всеми этими противными вещами, должен буду стараться писать хорошо по-латыни, к чему я также чувствовал полное отвращение. Погодин не сказал мне о моем сочинении — нравится оно ему или нет, сказал только: «Я хотел было с вами потолковать о вашем сочинении, но куда-то его запрятал, так что отыскать не могу». Он пригласил меня посещать его, пользоваться его библиотекой, и я бывал у него довольно часто, хотя не удалось быть у него много раз, ибо это уже было во второе полугодие последнего четвертого курса; всякий раз я встречал ласковый прием. Прошел Великий пост; в Вербную субботу получаю от инспектора 1-й гимназии Попова (о котором, как учителе моем, уже было сказано прежде) приглашение прийти к нему по нужному делу: по поручению гр. Строганова, Попов обратился ко мне с вопросом, не соглашусь ли я ехать за границу, чтоб быть домашним учителем при детях брата его, графа Александра Григорьевича? Срок — год, цена — 1200 франков. Я согласился: отвергнувши предложение Крюкова, занявшись главнейше русским языком, я не имел никакой надежды отправиться за границу на казенный счет, а на свой — не имел средств; до выдержания магистерского экзамена что бы я стал делать в Москве? Должен был бы определиться учителем в какую-нибудь гимназию; тогда как тут

случай побывать за границей и приобрести протекцию Строгановых, важную и при искании места в Московском университете, и в том случае, если это место не сыщется, и я принужден буду поступить в гражданскую службу. На третий же день я объявил Попову о своем согласии, но Строганов не велел мне являться к нему для окончательных переговоров до окончания экзаменов, чтоб не развлекать меня в приготовлении к ним, — Строгановская черта! Экзамены, как всегда, шли очень успешно. На экзамене из русской истории, Погодин, выслушавши мой ответ, обратился к сидевшему тут начальству и сказал: «Рекомендую г. Соловьева, — это лучший студент курса по русской истории, один из лучших во все продолжение моей профессорской службы; не скажу: лучший из всех, — были прежде и другие такие же». В это время Погодин уже разглашал о своем скором выходе из университета и подал в совет имена тех лиц, которые могут занять его место; то были: Григорьев, ориенталист, написавший магистерскую диссертацию о ярлыках; К-, который с самого начала приобрел у профессоров своего факультета репутацию человека необыкновенно трудолюбивого, но с образцово темной головой, каким он и был всегда на самом деле; третьим был назначен Бычков, кандидат нашего факультета, до сих пор (сентябрь 1855 года) идущий быстро относительно крестов и чинов, библиотекарь в Имп. Публичной Библиотеке, занявший место Березникова, место летописей в Археографической Комиссии, человек, отличающийся петербургским характером деятельности, поверхностью, шеромыжничеством; четвертым, наконец, был назначен я.

Когда я сказал Погодину о своем решении ехать заграницу при Строганове, он вполне одобрил мое решение, распространившись насчет необходимости для каждого молодого русского человека посмотреть чужие земли.

До гимназии и во время гимназического курса ездил я с отцом и матерью три раза в Ярославль для свидания с дядей моей матери, который был там архиереем (Авраам архиепископ, знаменитый своей страстью к строению церквей). Эти путешествия совершались на долгих, т. е. бралась кибитка тройкою от Москвы до самого Ярославля; 240 верст проезжали мы в четверо суток, делая по 60 верст в день; выехавши рано утром и сделавши 30 верст, в полдень останавливались кормить лошадей, кормили часа три, потом вечером останавливались

ночевать. Таким образом познакомился я с Троицкой Лаврой, Переяславлем-Залесским с его чистым озером, Ростовом с его нечистым озером и красивым Ярославлем с Волгою. От этих поездок остался в моей памяти один любопытный случай: в первую поездку (мне было тогда лет восемь, девять), остановившись ночевать в Ростове, отец вместе со мною отправился к архимандриту Яковлевского монастыря, Иннокентию; разговаривали они о всякой всячине, и между прочим архимандрит спросил отца: «Чем у вас, батюшка, малютка-то занимается?» Отец отвечал: «Да вот пристрастился к истории, все читает Карамзина». Тогда архимандрит обратился ко мне и спросил: «А что, миленький, вычитал ты о нашем Ростове, что о ростовцах-то говорится?» Я очень хорошо помнил рассказ о событиях по смерти Андрея Боголюбского, поведение растовцев относительно владимирцев, помнил оглавление II-й главы третьего тома «И. Г. Р.», где читается: «Гордость Ростовцев», и помнил только это, позабыл, что говорю с ростовцем, и отвечал: «Ростовцы отличались в древности гордостью». Не знаю, каково было первое впечаление, произведенное моим ответом на архимандрита; только он сказал, обращаясь к отцу: «А что, батюшка, ведь малютка-то правду сказал, что до сих пор народ наш отличается гордостью, неуступчивостью».

Я припомнил мои поездки в Ярославль по поводу поездки в Петербург в 1842 году. Эта поездка не была похожа на ярославские: поехал я не на долгих, но в почтовой карете, которая на третьи сутки принесла меня на берега Невы; езда, действительно, была великолепная, европейская, шоссе гладкое, а по сторонам — известно, что бывает в России по сторонам большой дороги, хотя надобно сказать, что стороны шоссейной петербургской дороги все были живописнее и занимательнее сторон железной дороги: по первой проезжали через города, через красивую Тверь, Торжок, через Вышний-Волочок, — русскую Венецию, — через Валдай, Новгород, где Волхов приятно поразил меня своим шумом и напомнил Марфу Посадницу. В Петербурге пробыл я только два дня, на третий уже переехал на пароход «Наследник», шедший в Травемюнде. Переезд через Балтийское море был очень неприятен: пароход был небольшой и весь наполнен; приезжало много иностранцев смотреть торжество по случаю серебряной свадьбы императора, и теперь они возвращались

домой; на всем пароходе я только один был русский. Этот внезапный переход к чужим людям был для меня тяжел — не с кем русского слова сказать! Я не выношу, мне душно и неловко, когда я сяду в театре в середину ряда, а тут спи в ящике, живом подобии гроба; каюта первого класса была занята знатными и богатыми иностранцами; я взял место в каюте второго класса и должен был обедать, завтракать и спать с лакеями знатных и богатых людей. Вечером первого дня (это было 5-е июля, день моих именин) заняла меня картина морской тиши; но тишина была перед бурею, на другой день — проливной дождь, ветер, страшная качка, морская болезнь; целый день я пролежал; море мне надоело сильно, и невыразимый восторг овладел мною, когда я вышел на берег и в дилижансе поехал из Травемюнде в Любек; страна показалась мне земным раем; занял меня и Любек старинною архитектурою своих домов. Из Любека отправился я в дилижансе в Берлин. Первые дни в Берлине — суббота и воскресенье — были для меня очень скучны: один в незнакомом городе, не знал, где отыскать русских; толкнулся в церковь — службы нет, священник летом в Потсдаме, для русской солдатской колонии. В понедельник рано утром приходит ко мне какой-то поляк и предлагает свои услуги; я чрезвычайно обрадовался; первый вопрос: как бы мне отыскать молодых русских, занимающихся в здешнем университете? Чичероне поляк повел меня в университет, справился о русских, об их квартирах. Я велел вести себя на квартиру Попова, магистра московского университета, который недавно защищал диссертацию о «Русской Правде», отличился тем, что чрезвычайно ловко защитил жиденькую диссертацию, и после диспута еще вел перепалку с Погодиным. Попов свел меня и со всеми другими русскими — с Пановым, Ефремовым, о которых упомяну я после. Я зажил теперь весело: поутру ходил на лекции, обедал вместе с русскими; после обеда отправлялись вместе на загородные прогулки. Долго в Берлине пробыть я не мог, и потом мне хотелось прослушать по нескольку лекций всех знаменитостей здешнего университета. Слышал я Шеллинга, великолепного старика с орлиным взглядом, с торжественною речью, производившего большое впечатление на слушателей уже одной этой торжественностью, так идущей к содержанию философско-мистическому. Слышал я Неандера, знаменитого церковного историка; лекция его была жидка по содержанию, в ней не было ничего для меня неизвестного, не было

и новых мыслей; но немцы записывали усердно. Еврей по происхождению, Неандер славился своими христианскими добродетелями и своими странностями, рассеянностью; так, рассказывали, что однажды он пришел на лекцию без нижнего платья; переменивши квартиру, он ходил в университет мимо старой, хотя это было совершенно в другую сторону; но иначе профессор не нашел бы дороги; на кафедру клали перед ним всегда перо: начавши читать, он брал его и ломал во все продолжение лекции: иначе, не имея чего вертеть в руках, он не мог бы читать свободно; лицо его сейчас же напоминало еврейское происхождение, особенно выдавались на нем необыкновенно густые черные брови. Слышал я географа Риттера, почтенного старичка в туфлях, очень образно объяснявшего свой предмет; его звали котом или котиком за мягкость и плавность манер и речи. Слышал Ранке, коверкавшегося на кафедре и желавшего голосом и жестами выразить характер рассказываемого события; Раумера, довольно видного господина с безжизненною речью. Слышал Бенки, сидевшего на кафедре поджавши ногу и не пропускавшего случая подтрунить над соперником своим, Германом Лейпцигским.

Из Берлина я отправился впервые по железной дороге — в Дрезден, который мне очень полюбился своим положением, Брюлевскою террасою с ее дешевыми наслаждениями — мороженым и музыкой, картинной галлереей и оперой; в картинной галларее любимой картиной, перед которой я долее других останавливался, был Тицианов Il Cristo delia moneta: поражала меня здесь противоположность двух лиц — Христа с его божественным спокойствием и искусителя с его искаженным от лукавства лицом. В Дрездене я осведомился, где Строгановы, узнал, что в Теплице, — и отправился туда. Опять очутился я в чужом доме, опять столкнулся лицом к лицу с русскими барами. Александр Григорьевич Строганов, бывший министр внутренних дел, принужденный оставить должность по неудовольствию с императором, служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I-го могли достигать высших степеней служебной лестницы: зажмурив глаза и прислушиваясь к разговору Александра Строганова, можно было с первого раза подумать, что говорит граф Сергей: так было у обоих братьев много сходного в голосе, в постановке фразы; но как сильно сначала поражало сходство, так же сильно потом поражало различие.

Александр имел все недостатки Сергея, не имея ни одного из его достоинств. Конечно, могут сказать, что я выразился очень резко, решительно; могут сказать, что Александр имел некоторые из достоинств Сергея, например, был честен, неспособен брать взятки; но из уважения к Сергею я не хочу даже считать в числе его достоинств служебную честность. Имея ум чрезвычайно поверхностный, Александр мечтал, что обладает способностями государственного человека, и не знал границ своей умственной дерзости; с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстроивая другими подобными же нелепостями. При этом — ни малейшего благородства, деликатности. Жена была еще хуже мужа: с умом и образованием также поверхностным, огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощенный, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное — вот графиня Наталья Викторовна Строганова, урожденная княжна Кочубей. Эта чета была испорчена губернаторством; прежде занятия министерского места, Ал. Строганов был генерал-губернатором черниговским, харьковским и полтавским. Понятно, какое страшное искушение представляет и для порядочных лиц первенствующее положение; это раболепство русского губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых. В Петербурге также — блистательное положение: графиня, умевшая владеть разговором, очень недурная собою, особенно вечером, с огромными связями, как дочь Кочубея, держала блистательную министерскую гостиную. И вдруг — опала! Император Николай понял наконец, что избранный им министр внутренних дел не годится даже в ротные командиры, и отставил его. По обыкновению опальных властей, Строгановы отправились за границу, прямо в Париж. Экс-министр начал фланировать, схватывать резкие черты нравов и рассказывать их за обедом жене, вечером — приезжим русским; познакомился с Тьером, также экс-министром, — но этим сходство между ними и ограничивалось, наконец, стал посещать лекции анатомии. Экс-министерша сначала очень скучала; пользоваться удовольствиями, за которыми приезжали в Париж другие русские, посещать театры и прочее она не хотела; эти удовольствия

были ниже ее; она привыкла к более серьезным занятиям, к министерским разговорам; притом, парижские удовольствия требовали много денег от дамы, а она была относительно небогата, проживать много не могла. Она сблизилась с одной русской дамою, поселившейся давно уже в Париже, Свечиной. Свечина эта приняла католицизм и под руководством разных аббатиков в сутанах и во фраках занялась делами милосердия. Эти аббатики и аббатисса Свечина поймали нашу Строганову, что было им нетрудно: досада на все русское, преимущественно на императора, не могла возбудить в ней горячего усердия к русской церкви, которая, по утверждению не совсем несправедливых католиков, имеет папу в императоре; поверхностное воспитание, холодность нашего духовенства, отсутствие интереса к религиозным вопросам в Петербурге, в сановническом кругу, не дают нашим барам, и особенно барыням, никаких средств узнать правду нашей церкви относительно католицизма; поэтому всякому аббатику, иезуиту, легко уверить их, что вне католицизма нет спасения. Строганову, женщину без убеждений, без сердца, прельстила эта внешняя, чувственная, театральная набожность католическая; прельстила ее эта новая открывшаяся ей деятельность, это католическое милосердие, так тесно переплетенное с интригой, с составлением обществ, лотереями, со всеми этими мирскими забавами, подкрашенными христианством, но не имеющими в себе ничего христианского. Как только я свиделся со Строгановыми в Теплице, так тотчас заметил, что графиня окунулась с головой в католицизм; она не скрывала своих мнений (сказать: убеждений было бы много) не только при мне, домашнем человеке, но и при всех других русских, вследствие чего сейчас же распространился слух, что она приняла католицизм. От графа в два года я не слыхал ни слова о вере; он аккуратно каждое воскресение ездил к обедне в русскую церковь; но графиня первый год по воскресениям отправлялась в котолическую, а по пятницам — в русскую, для избежания тесноты; но на другой год, когда об этом начали слишком громко говорить, начала и она ездить по воскресеньям в русскую церковь. В Теплице у Строгановых было трое детей; сын лет двенадцати, дочь лет тринадцати, и еще маленький сын лет семи или восьми. Старший сын был не глуп, но уже в таких нежных летах чувственные наклонности начали в нем сильно развиваться и препятствовать нравственному и

умственному развитию; в двенадцать-тринадцать лет уже заметно было нравственное ожирение в мальчике; девочка, очень дурная лицом, была живее и чище во всех отношениях; третьего малютку я не узнал, ибо на пути из Дрездена в Веймар он подавился куриной костью, которую дала ему сама мать, и умер в Веймаре. Кроме меня, в доме был гувернердля мальчиков, гувернантка для девочки. Гувернером был бедный савояр Дюфуг без всякого образования и без претензий, добрый малый. Гувернантка была (позабыл фамилию) швейцарка; она заслужила неблаговоление графини тем, что резко высказывалась против католицизма, и уже положено было в Дрездене ее отправить, а в Франкфурте ожидала уже другая, которая прежде жила у них, также протестантка, швейцарка, но в которой предполагалось более равнодушия к своему исповеданию; но потом и эта по той же причине не понравилась, взята была католичка, ходившая каждый день к обедне.

X

Из Теплица я поехал вместе со Строгановыми в Дрезден, уже мне знакомый, из Дрездена — в Веймар, где, как уже сказано, умер маленький граф; из Веймара я доехал со Строгановыми до Франкфурта; здесь на мое место в карете села новоприбывшая гувернантка, и я отправился один, что для меня было чрезвычайно удобно и выгодно: я останавливался где хотел, тогда как, ездя вместе со Строгановыми, я не видал бы ничего, ибо они ездили из Богемии в Париж и из Парижа в Богемию, зажмуря глаза, хлопоча только о том, как бы поскорее доехать, и смеялись над теми русскими, которые, подобно англичанам и немцам, останавливаются везде и рассматривают все любопытное; эта насмешка показывает лучше всего природу петербургских сановников, потерявших интерес ко всему, кроме мелких интриг честолюбия. Из Майнца я отправился по Рейну на пароходе в Кельн. Рейнские берега в первый раз меня сильно поразили, во второй — уже не так, а в третий — я просидел целый день в каюте, разбираясь в своих бумагах. Но Бельгия и в первый, и в другой раз произвела на меня одинаково благоприятное впечатление, по своему опрятному, чисто-европейскому труду, видимому везде, и необыкновенной деятельности движения, особенно на железных дорогах, где не довольствуются тем, что предлагают вам напитки и закуски, но также предлагают дешевые брюссельские издания французских сочинений; а города — с их геройской средневековой историей, с их цветущим настоящим, с их свободой и благочестием, с их церквами, наполненными произведениями искусства и богомольцами, не женщинами, как во Франции, но мужчинами, и молодыми! Бельгия служила для меня утешительным доказательством, что свобода совместима с религиозностью и крепче от этого соединения, что народ, дельный по преимуществу, религиозен. Из Брюсселя я отправился в Париж, куда попал сверх чаяния, ибо Сергей Строганов, отпуская меня из Москвы, прямо сказал мне, что брат его будет жить в Италии; но, приехавши в Теплиц, я узнал, что их сиятельства не могут нигде жить, кроме Парижа. Это известие заставило меня провести несколько очень неприятных дней, ибо быть

за границей и не быть в Италии было очень для меня тяжело. Но делать было нечего, надобно было покориться судьбе, и я отправился в Париж, утешая себя мыслью, что через год, накопивши денег, успею съездить как-нибудь на свой счет в Италию.

Итак, я жил тогда в Париже. Париж внешней своей стороной много поразить меня не мог: я уже видел много больших европейских городов, привык к громадным домам, громадным общественным зданиям; но и после германских и бельгийских городов поразило меня развитие промышленности, эта роскошь в ней; поразили меня мраморные столы в мясных лавках, искусство показывать товары; поразила страшная деятельность, написанная на всех лицах, на этих живых кельтических лицах, которые были для меня очень привлекательны после немцев. Чистый славянин, получивший воспитание русское, свободное, без гувернера-иностранца, я свободно мог предаваться влечению славянской натуры, вследствие чего не люблю немцев и сочувствую романским кельтическим народам. Я плохо говорю на всех иностранных языках, которых знаю четыре: французский, немецкий, английский и итальянский, кроме польского и латинского; я разумею под знанием свободное чтение авторов; свободно читать греческих авторов я не выучился в университете, и после, не имея упражнения, скоро позабыл и то, что знал. По-чешски я не очень свободно читаю; но французский, английский и итальянский языки для меня родные по своему складу, но совершенно чужд немецкий, особенно новый; читать французскую, английскую и итальянскую книгу для меня так же легко и приятно, как читать русскую; читать немецкую книгу — труд тяжелый. За границей я подметил резкое различие между русским и немецким относительно пищи: русский, т. е. славянин — преимущественно хлебоедец, немец — мясоедец; маленькие булочки, которые подаются к столу в Германии, приводили меня в отчаяние, ибо совестно было беспрестанно спрашивать хлеба. Французы и бельгийцы гораздо хлебоеднее немцев, и здесь, следовательно, приближаются к славянам; это приближение особенно заметно в одинаково сильном употреблении медовых коврижек на востоке и на западе Европы, но не в середине. Сильно понравились мне жантильные француженки после неуклюжих, большеногих немок; понравилась простота в одежде: обыкновенно черное или темное платье, черная мантилья, черная

шляпка с маленьким черным пером, тогда как на немках пестрота, потом голошейность, голорукость, тогда как во Франции голошеями ходят по улицам только женщины известного поведения.

Вообще, я был доволен парижской жизнью. Занятий у Строгановых у меня было немного, не более трех часов до полудня; после все время я мог употреблять для себя. Позавтракавши в 12 часов, я отправлялся в Королевскую Библиотеку. Главная цель моих занятий уже была определена — русская история; но для занятий ею у меня было мало средств, кроме Полного Собрания русских летописей — ничего, и потому я решился заниматься историей всеобщей, преимущественно славянской. Чтоб определиться и в этих занятиях, я решился писать сочинение, темой которого было отношение дружины к родовой общине: из антагонизма замкнутого рта и толпы людей, выделившейся из него, большей частью насильственно, я объяснил главнейшие явления в истории человечества. В Азии на семитические племена я смотрел, как на представителей родового начала, на персов — как на представителей дружинного, в Европе — на пелазгов, под которых включал и славян, смотрел, как на представителей родового начала, на эллинов — дружинного; в римской истории в борьбе патрициев и плебеев я видел борьбу родового и дружинного начала. Для проведения моей мысли мне необходимо было изучить мифологию, чем я преимущественно и занимался в Королевской Библиотеке. В 3 часа я возвращался из нее и садился писать; писал два часа до обеда, т. е. до шести часов; после обеда читал новые книги и журналы. В воскресенье, вставши и напившись молока, отправлялся я в русскую церковь, находившуюся в конце Елисейских Полей. После обедни, заходил к священнику Вершинскому, человеку ученому, но самодуроватому; он снабжал меня также некоторыми книгами. К священнику после обедни сходились пить чай все русские среднего сословия. Из них я больше всего сблизился с Сажиным, гувернером у князя Гагарина; с этим Сажиным я вместе учился в коммерческом училище: это был человек далеко не ученый, но умный, верно смотрящий на все, добрый и веселый. Иногда мы с Сажиным оставались обедать у священника; но обыкновенно после чаю мы отправлялись с ним таскаться по Парижу, по церквам, в Лувр, в загородные места; потом обедали вместе в Пале-Рояле, за два франка, и вечером отправлялись в театр; хаживали мы в итальянскую оперу не

очень впрочем часто, по причине дороговизны, а стоять спозаранку в хвосте, чтоб иметь дешевые места, мы не хотели; только два раза были в Французском театре — посмотреть Рашель; я признал в ней великий талант, тут же назвал ее лицедейкой по преимуществу, но не пристрастился к ее представлениям; причина заключалась в моей слабонервности; воскресенье должно было быть для меня LAitallicrecreatio animi et corporis, я хотел избежать в этот день всего тяжелого, а трагедия была тяжела для моих нервов. Вот почему я преимущественно отправлялся в французские оперы — Большую и Комическую, или в Пале-Рояль — смотреть m-lle Дежазе, старушку, несравненно игравшую молоденьких девушек и особенно молоденьких мужчин, — Равеля возбуждавшего хохот одним появлением своим на сцену, — или в «Водевиль», смотреть Арналя, в «Варьете» — смотреть Буффе.

Приближалась зима; начали открываться курсы, которых я дожидался с нетерпением, но они не удовлетворяли меня. Разумеется, я прежде всего бросился на исторические курсы к Ленорману в Сорбонну, к Мишле в Коллеж-де-Франс. Ленорман, красивый, плотный мужчина, с усами, смотрел тамбур-мажором, а не профессором; вместо истории, предметом его чтений во все продолжение курса была защита христианства против Штраусса. Защита была довольно жиденькая; несмотря на то, Ленорман производил сильное впечатление; он импровизировал, увлекался своим предметом и увлекал других; я был бы еще доволен его лекциями, если б он не читал исключительно с католической точки зрения. Повторяю, что в научном отношении лекции его были очень слабы; но можно утвердительно сказать, что из многочисленной толпы его слушателей едва ли человека три читали Штраусса; всего удачнее у него выходила защита христианства, как коренящегося на неизменных нравственных убеждениях человечества. Я помню, как однажды он обратился к молодым своим слушателям с такими словами: «Господа! Если когда-нибудь кто из нас хотел обольстить девушку для удовлетворения своей чувственности, то неужели тайный голос не говорил ему, что он делает подлость?» По свойству таланта, по способности к одушевлению, к Ленорману приближался Эдгар Кине. Сначала в Коллеж-де-Франс; но к концу академического года в палатах и в журналистике разыгрался вопрос об иезуитах, и вот Кине, вместе с Мишле, начал читать в

аудиторию, где должен был читать Кине, занял место, смотрю — аудитория наполняется больше обыкновенного, становится страшная теснота, а толпа все прибывает; вновь прибывшие, не имея места, начинают кричать, чтобы переменена была аудитория; те, которые уже заняли места, не хотят этого, ибо им невыгодно идти теперь позади и занимать худшие места в новой аудитории. Кине не является, дожидаясь, чем кончится дело; наконец, прежде пришедшие осилили и криками заставили профессора явиться. Кине был тут на своем месте, читал с большим одушевлением, рукоплесканиям не было конца; мне было очень приятно слушать, ибо сильно не жалую иезуитов, хотя, с другой стороны, не жалую и того начала, которое дает силу иезуитам среди людой слабых, не умеющих держаться на середине. Следующие лекции Кине против иезуитов читались уже в другой, большой аудитории. Я упомянул выше о Мишле. Я пришел к нему на первую лекцию, думая выслушать с пользой целый курс истории Франции; он читал в самой обширной аудитории, которая однако была наполнена. Вошел на кафедру седой старичок и начал говорить — о чем, Бог его знает! — страшный винегрет и вовсе не занимательный, утомительный, переданный без одушевления; я бросил ходить на эти лекции. Но, когда дело дошло до иезуитов, Мишле оживился, талант его высказался вполне. Я позабыл сказать, что на последней лекции Кине против иезуитов он упомянул, что и знаменитый товарищ его Мицкевич разделяет на своих лекциях его мнения. Начался крик: «Vive la Pologne!» Сзади меня встает господин огромного роста, трясет шапкой и кричит; «Vive la Pologne!» Это был знаменитый Бакунин, которого прежде встретил я мельком в Дрездене, говорил с ним минут десять и отошел с тем, чтоб после никогда не сходиться: неприятное впечатление произвел он на меня своими отзывами о России.

Слушал я и Мицкевича. Это явление было крайне любопытно, ибо давало понятие об этих восторженных учителях, которые производят такое сильное впечатление на толпу, особенно на женщин. Ясно было, что исходит сила, делает впечатление — но исходит эта сила не из содержания речи, убеждающего ум или трогающего сердце, исходит прямо от природы говорящего человека и действует на природу слушающего. Ясно было, что передо мною инструмент уже расстроенный, разбитый, и, несмотря на то, инструмент звуками своими производил сильное впечатление. Впечатление это

усиливалось еще прекрасной наружностью Мицкевича, скорбной, не от мира сего бывшей. Содержание лекции его о мессианизме известно. Он читал по-французски медленно, с дурным выговором: так например, sur он всегда произносил шюр.

Был я и в торжественном заседании академии при приеме в члены Пакье; принимаемый говорил не блистательно; на другой день в журналах высчитано было, сколько раз он употребил частицу que. Но прекрасно, с истинно-академическим красноречием, отвечал ему Минье, понравившийся мне и наружностью своею. Был я и в палате депутатов; меня неприятно поразил беспорядок, бесцеремонность депутатов, шум во время произнесения или читания речей непервостепенных ораторов; видел невзрачного Тьера, взрачного, осанистого Гизо не с французской физиономией. Будучи поклонником Гизо за его сочинения, я легко сделался в Париже приверженцем орлеанской династии и министерства Гизо; по умеренности своей я не мог понять, чего еще французам нужно более того, что они имели в этом? Мой взгляд был вполне оправдан после, когда февральская революция повела к нелепой республике и гнусной империи.

XI

Пришла весна (1843 г.); надобно было думать о будущем годе; Строгановы объявили, что пробудут и эту зиму в Париже, а лето на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, потом в Ахене. Я свыкся с парижской жизнью; из России не приходило никаких вестей, которые бы заставили меня спешить туда, и я решился остаться еще зиму в Париже. Из Парижа в Богемию я должен был отправиться один, ибо, как выше сказано, в Строгановских каретах мне не было места; времени мне было дано много на проезд, потому что рано прекращалось ученье в Париже за сборами и поздно начиналось в Карлсбаде, пока еще жизнь не приводилась в порядок. Я воспользовался этим, чтоб объехать южную Германию; поехал в дилижансе из Парижа в Страсбург, где пробыл недолго, чтоб только посмотреть знаменитый собор, который показался мне меньше, чем недостроенный кельнский. Из Страсбурга я приехал в Карлсруэ, где, разумеется, незачем мне было долго оставаться; из Карлсруэ поехал в Штутгарт, куда приехал вечером, взял лондинера и велел вести себя по достопримечательностям города. — Куда вы меня прежде всего поведете? — спросил я у него. — «В королевские конюшни», — был ответ. — Я не хочу в конюшни, я не знаю толку в лошадях. — «Ну, так пойдемте к памятнику Шиллера». Посмотрел я памятник Шиллера. — Ну, теперь куда же вы меня поведете? — «В королевские конюшни». — «Но, я уже вам сказал, что не хочу в конюшни». — «Ну, пойдемте в парк: там есть великолепные колоссальные нимфы». Пошли в парк, посмотрел я на великолепных колоссальных нимф. — «Теперь куда же вы меня поведете?» — «В королевские конюшни». — Но, Боже мой! Я уже вам сказал два раза, что не пойду в конюшни! — «Ну, так идти более некуда, у нас нет больше никаких достопримечательностей!» — У вас есть русская церковь? — «Есть, вон она на горе за городом; там живет и священник; но теперь уже поздно идти туда; переночуйте, и завтра поутру пойдем». Но я не решился для свидания с русским священником ночевать в Штутгарте, и в ночь отправился через Аугсбург в Мюнхен. В Мюнхене ждал меня окладной дождь; вследствие этой неприятности я решился весь первый

день просидеть дома, и, чтоб провести время с пользой, написал статью о парижском университете, которую потом переписал в Праге и отправил к Погодину, для напечатания в «Москвитянине», что и было исполнено. Это было вторая моя печатаная статья, которую я написал по требованию Погодина и оставил ему, уезжая за границу, была критика на Венелинскую «Скандинавоманию»; я не знал, что Погодин ее напечатал и подписал под нею мое имя, — как, по возвращении из-за границы, попался мне в руки «Славянский Сборник» Савельева-Ростиславича, где разругана, между прочим, и моя статья, а автор оной назван пигмеем: это был мне первый подарок от русской критики.

Окончивши статью о парижском университете, я сошел вниз в общую залу поужинать и, перебирая известия об иностранцах, нашел, к величайшему удовольствию, имя Александра Попова. На другой день я отправился к нему и введен был им в круг русских художников, из которых самый замечательный и приятный, как человек, был Моллер, замечателен был также гравер Степанов, который в загородных прогулках потешал нас своими шутками с немцами и немками. Степанов был русофил, презирал немцев, смотрел на них, как на трусов, и уважал свой русский кулак, как персональный признак превосходства. Проведши весело время в Мюнхене, в посещении глиптотеки, пинакотеки, дворца, церквей, проводивши с эгоистическим вздохом Попова, — потому что мне жаль было собственно не Попова, а досадно было, что он отправился пешком в Тироль, а оттуда в Италию, которую судьба заперла для меня, по крайней мере в молодости, — я выехал в Регенсбург, чтоб посмотреть Валгаллу. Погода преследовала меня в Баварии: в Мюнхене почти не было ни одного светлого дня: меня утешали, что здесь это обыкновенная погода. В Регенсбург я приехал также в дождь; но делать было нечего: долго оставаться мне было нельзя здесь, и в окладной дождь я отправился в Валгаллу, по мокрым дорожкам, покрытым улитками, взобрался к знаменитому зданию; оно не поразило меня очень ни формою, ни внутренним содержанием; больше прельстило меня местоположение, хотя половина красоты его уничтожалась дурной погодой. В Регенсбурге с любопытством и тоской смотрел я на зеленый Дунай: он тек к счастливым странам юга, а я должен был двигаться все на север да на запад! Видел древний собор, где мне показывали дорогие сосуды, — но этого добра у нас

много и в России; водили меня и к тюремным погребам, для показания глубины которых чичероне зажигал бумагу и бросал вниз; показывали гнусную машину, на которой видны были еще остатки крови после пыток. Вечером, насмотревшись всех этих диковинок, выехал я в почтовой карете из Регенсбурга в Карлсбад; со мною поместилась дама пожилая, но очень приятная, с сыном, красивым молодым человеком лет двадцати. По языку я узнал, что это — поляки; по серой студенческой шинели они узнали, что я русский; завязался разговор на французском языке; оказалось, что дама была литовская графиня Довьялло, разумеется, патриотка, живая, умная, образованная, приятная, вкрадчивая. Она жаловалась на несчастное состояние своего отечества, вспоминала славную старину литовскую, которую знала из истории Нарбурта; с ужасом говорила о впечатлении, какое произвела на нее регенбургская тюрьма и орудия пытки, причем прибавила: «Меня ужасает, что наш век стремится все к старине, к этим средним векам, от которых остались нам такие страшные остатки». Я отвечал ей на это: «Зачем же вы сейчас так горячо заступались за католицизм: ведь возвращение к средним векам делается во имя последнего, и тюрьмы инквизиции были самые страшные, я католицизм может ли быть без инквизиции?» Она замолчала.

Приехавши в Карлсбад, я пробыл здесь недолгое время: Строгановы еще не приезжали, и не было надежды, чтобы приехали скоро, а потому я отправился в Прагу. Теперь я отправлялся в Прагу уже во второй раз; прошлого года я ездил туда на короткое время из Теплица, встретил там Попова, познакомился с Ганкою, Палацким, и только; Шафарика тогда не было в городе; теперь, взявши еще в Мюнхене от русских письма к «властенцам» (патриотам), я решился пробыть в Праге с неделю и ближе присмотрелся к славянскому движению. Прежде всего, по письму я близко познакомился с молодым человеком, Лиманом, горячим властенцем; он познакомил меня с другими, себе подобными, ввел в трактир, где они обыкновенно собирались. Что касается до властенцев, то это были люди превосходные, чистые, добродушные; не на одного меня, но на всех русских производили они самое приятное впечатление, так что каждый, сблизившись с ними, уезжал из Праги с тоскою. Как люди партии, они жили одной мыслью, одной мечтой; горизонт их вследствие этого сузился; они не видали своего положения, не видали,

что их очень мало; что народ равнодушен; кроме трактира, они ввели меня в свои дома; я увидал простую жизнь, ибо все это были люди недостаточные; познакомился с нравами их женщин, которые меня удивили: чешки — настоящие польки, живые, нецеремонные; в отношениях между двумя полами господствует полная свобода; во время загородных прогулок, например, каждый мужчина берет себе даму (т. е. девушку), идет под руку и говорит сладости. В один прекрасный день, в воскресенье, сговорившись, толпа властенцев и властенок, в том числе и я, вышли чем свет на загородную прогулку к св. Прокопу, в монастыре которого отправлялось некогда славянское богослужение, почему память его и стала священной для властенцев. Прогулка была восхитительная, по горам; возвратились поздно вечером; песням властенского, разумеется, содержания, танцам — не было конца. Танцевал и я, — это было в последний раз в моей жизни. Возратившись домой, я нашел в кармане несколько белых пряников с изображением льва: белый лев — герб Богемии, которого властенцы противопоставляют австрийскому орлу. Однажды я зашел к одному властенцу-рытцу, т. е. граверу; с восторгом на лице показал он мне только-что оконченную работу свою: вырезан был орел, которого зубами за шею хватил лев. Что касается до знаменитостей чешских, то Ганка имеет чисто русскую физиономию, напоминает наших плутоватых управителей или ходатаев по делам; властенцы — либералы, и потому не любят Ганку за его пресмыкание пред русским правительством, за это благоговение к владимирскому ордену, который он имеет. Действительно, Ганка вовсе не отличается бескорыстием, какое я заметил в властенцах. Видевшись со мною не более трех, четырех раз, он уже обратился ко мне с просьбой, не могу ли я через министра Уварова (!!) выхлопотать ему место русского консула в Карлсбаде и Теплице, где летом бывает всегда так много русских! Палацкий — очень ловкий, учтивый, приятный человек в обращении, с приятной наружностью — вот все, что я мог заметить, посетивши его раз. Шафарик — высокая, серьезная, протестантская фигура; он мне напомнил схимников в наших монастырях, которые, как к ним придет кто-нибудь, начинают заученную душеспасительную беседу; так и Шафарик, узнавши, что я русский, не дал мне ни слова сказать, и начал говорить длинную иеремиаду о плачевном состоянии, в каком находятся они, западные славяне, и окончил тем, что единственное

сокровище, оставшееся у них, это — язык: «Я твержу своим постоянно: сохраняйте язык — и с ним все сохраните». Тем оканчивалась речь, или лекция.

Подобно всем русским, и я выехал из Праги с тоскою. На дороге развлек меня один забавный случай. Ехал со мной вместе какой-то француз, начал толковать о политике и, узнавши, что я русский, толковать о стремлении к панславизму: «Ведь слияние довольно трудно», — говорил он, — «потому что славянские народы не могут понимать друг друга, — например, вы, русские, не можете понимать чеха?» Мне захотелось подшутить над французом: «Как?» — отвечал я: — «русский может понимать чеха, и наоборот; вот вам доказательство: кучер у нас чех; я буду говорить с ним по-русски, а он будет мне отвечать по-чешски», и, обратившись к кучеру, я сказал ему что-то по-чешски, и тот мне отвечал. Француз, не понявши моей шутки, пришел в ужас: «Когда так, то Австрия, разумеется, погибнет!» сказал он.

XII

Жизнь в Карлсбаде и Теплице (1844 г.) не представляла для меня ничего замечательного: днем — уроки, собственные занятия; вечером — одинокие прогулки по красивым окрестностям. По окончании вод богемских, Строгановы решили, что графиня с семейством поедет еще в Ахен, на тамошние воды, а граф из Дрездена отправится в Петербург, где возьмет старшего сына Григория, выходящего из пажеского корпуса, и привезет его в Ахен, на короткое свидание с матерью, после чего опять — в Париж. Отъезд графа опростал для меня место в карете, и я отправился в Ахен вместе со Строгановыми. Вся дорога была мне хорошо известна; Ахен я также подробно рассмотрел прошлого года. Здесь жизнь моя была одинакова с жизнью на богемских водах; большой город представил мне только то удобство, что я мог записаться в библиотеку для чтения. Вздумал было я забраться в театр ахенский будучи прельщен его красивостью. Давали комическую оперу — «Постильон де Лонгжюмо», которая так прекрасно шла в Париже; явилась на сцену рыжая немка; как она пела — я уже не помню; помню одно, что, пропевши что-то, она преспокойно пред всей публикой тяжеловесно плюнула на пол. Я бежал из театра и больше уже туда — ни ногой. Приехал граф с сыном; последний, очень похожий на мать, не имел в себе ничего Строгановского: живой, болтун, шумиха, крепко пуст, с кадетским образованием; красив, строен, но глаза ужасные, свинцовые, большие: после он сделался знаменитым (это он был фаворитом, а после негласным мужем в. княгини Марии Николаевны). Через несколько дней он уехал назад в Россию, а мы поднялись в Париж, я — особо. Жизнь моя эту зиму в Париже была совершенно сходна с прошлогодней, только скучнее, ибо по воскресеньям не было моего постоянного сопутника, Сажина. В самый Светлый день приехал Попов и пробыл несколько недель. Весною (1845 г.) Строгановы начали толковать опять, что и следующую зиму проведут в Париже; но я уже решил возвратиться в Россию: в Париже мне решительно нечего было более делать. Я написал два письма — одно к московскому Строганову, где объяснял ему невозможность оставаться далее в

семействе его брата; другое — к Погодину, в котором объяснял ему мое положение и просил совета, думая, что он лучше других может сообщить мне известия о делах университетских. Строганов отвечал мне, что нисколько не удерживает меня в Париже, но желал бы, чтобы я провел несколько времени в славянских странах, сблизился с главными представителями славянской науки. Ясно было, что Строганов хотел, чтобы я занял кафедру русской истории в московском университете и знакомством с славянщиной на месте приобрел к тому больше средств и прав. Но я считал вовсе излишним для русской истории оставаться долее в славянских странах и, вместо чтения ее источников, услаждаться патриотическими жалобами Шафарика и Ганки и возгласами молодых властенцев; мне нужно было спешить готовиться к магистерскому экзамену, притом же у меня не было денежных средств оставаться долее за границей. — Письмо Погодина поразило меня своей странностью: оно начиналось и оканчивалось сильными выражениями благодарности за доверие, которое я ему оказывал; чудак, не привыкший, чтоб ему оказывали доверие, счел за нужное благодарить молодого человека, который, по неопытности своей, никак не мог понять, за что благодарят его. И тут же, двусмысленностью ответа, неуменьем отплатить доверенностью за доверенность, Погодин давал мне знать, что я действительно сделал глупость, обратившись к нему. Он писал, что оставил кафедру, что хочет ехать в Швецию — заниматься варяжским периодом, в южную Сибирь — для занятий монгольским периодом; что мне нужно было бы возвратиться в Россию для занятий русской историей, но и пожить подольше за границей было бы также очень полезно; что во-всяком случае место адъюнкта будет мне готово. Если он вышел из университета, если кафедра опросталась, и я должен занять ее, то я должен спешить для этого в Россию, но какая же мне польза оставаться за границей, когда я уже пробыл здесь два года? И что значит, что мне будет место адъюнкта? — После все объяснилось.

Понятно, что такое письмо только усилило во мне желание выйти из темноты поспешным возвращением в Россию. Лето я хотел употребить на путешествие по тем частям Германии, где еще не был. Из Парижа отправился я в дилижансе в Мец, отсюда на пароходе по Мозелю и потом по Рейну в Мангейм, из Мангейма по железной дороге в Гейдельберг. Приехавши сюда ночью на другой день

отправился в университет — узнать когда и где читают три профессора, которых мне хотелось слышать — Крейцер, Рау и Шлоссер. Крейцер, по старости, читал у себя на дому; я отправился туда и отрекомендовался автору «Символики», дряхлому, очень невзрачному старику в рыжем парике; начали приходить студенты; Крейцер стал читать, и я сначала поражен был очень неприятно неуважением студентов к профессору и к своему делу: они шумели, смеялись под носом у Крейцера. Старик читал о развитии чувства изящного у греков — «tritum per tritum»; но когда дело дошло до знаменитого места в Илиаде, где троянские старцы изумляются красоте Елены, старик Крейцер сам превратился в троянского старца, как будто бы увидал пред собою Елену, и прочел место с большим чувством. Что касается до двух других гейдельбергских знаменитостей, Рау и Шлоссара, то первый читает очень сухо и скучно, а второй, напротив очень живо, смешит студентов анекдотцами; он мне показался еще очень свежим старичком. На лекции у Крейцера познакомился я с русским студентом Благовещенским, воспитанником предагогического института, бывшим потом профессором в Казани и Петербурге. Это был еще молоденький красивенький мальчик, не обещавший многого. Благовещенский познакомил меня со своим товарищем Мейером, который и тут был тем же, чем после, работал страшно много — и только; наконец, третий русский, которого я встретил здесь, был Вернадский, присланный от киевского университета. И этот явился предо мною здесь точно таким же, каким я знал его после в Москве: человек живой, не без дарований, без крепких убеждений и невыносимо дерзкий; не имея способности крепко вдумываться во что бы то ни было, не находя большого интереса в самих явлениях без отношения к себе, он позволял себе очень часто высказывать нелепости, и если кто осмелится заметить, что это нелепость, и вступит в спор, то Вернадский выходит из себя, кричит, громоздит нелепость на нелепость, и чтобы поддержать первую нелепость, говорит дерзость противнику. Вообще, это был один из самых неприятных, самых отталкивающих людей, каких только я встречал.

Вторую половину лета провел я со Строгановыми на богемских водах, в Карлсбаде и Теплице, в Дрездене простился с ними и через Берлин, где провел только одну ночь, отправился по железной дороге в

Свинемюнде, где сел на пароход и в начале сентября приехал в Петербург. Здесь провел несколько дней, чтоб исполнить некоторые поручения Строгановых, и в дилижансе отправился в Москву. Сергей Строганов встретил меня, как нельзя лучше, сказал, что место для меня очищено выходом Погодина, чтоб я приготовлялся к магистерскому экзамену, успешное выдержание которого даст мне право на кафедру, объявил мне, что брат его Александр остался мною чрезвычайно доволен. Но это довольство скоро прекратилось — вот по какому случаю. Однажды, сидя со мною наедине в комнате, граф вдруг спросил меня: «Скажите, пожалуйста, справедливы ли слухи, которые носятся здесь, что графиня Наталья Викторовна приняла католицизм?» Застигнутый врасплох, я начал обходить решительный ответ; — Строганов настаивал; что мне было делать? я видел перед собой человека, которого уже считал своим благодетелем, не имел никакой причины не желать добра и Александру, и решился сказать все, что знал, именно все то, что изложено мною выше. Строганов все это написал брату, с извещением быть осторожнее. Александр, получивши это письмо, сильно рассердился на меня, как на человека, наябедничавшего брату на него и на жену его; из его ответного письма Сергей сказал мне одно: «Брат пишет, что вы их не поняли». — «Чего же тут не понять; — отвечал я ему: — разве я сказал вам больше того, что говорят другие русские?» Сергей-то очень хорошо знал, что я в своем рассказе очень уменьшил рассказы, в которых ходили слухи относительно поведения графини — религиозного и нравственного, и потому принял мою сторону и сердился на брата, который не умел понять дела; но тот не переставал сердиться на меня, и, возвратившись в Петербург, не упускал случая срывать свое сердце; вооружился против моей ученой репутации, кричал, что я человек недаровитый, и потому не могу оказать больших услуг науке; что я, находясь в Париже, занимался вовсе не тем, чем бы следовало; когда начала выходить моя «История», — находил удовольствие писать брату длинные письма, в которых ругал сочинение. Сергей обыкновенно объявлял мне об этом в таких выражениях: «Вон какое длинное письмо написал брат о вашей книге! Он до вас не охотник, но он не знает настоящего положения науки, судит по старому». Только после выхода пятого тома, Сергей сказал мне: «Брат пишет, что прочел ваш пятый том, но не прибавляет никакого об нем суждения». Я начал

готовиться к экзаменам, т. е. стал писать диссертацию. Выбрал тему: княжение Иоанна III-го; прежде всего начал заниматься Новгородом и увидал, что для понимания последних судеб Новгорода, последних отношений его к московскому государю необходимо представить полную историю его отношений к великим князьям, и таким образом, вместо диссертации об Иоанне III-м, вышла диссертация об отношениях Новгорода к великим князьям. Что касается до экзамена, то я перечитывал выписки, сделанные мною прежде из всего прочтенного, и этого было достаточно; из народного права приготовиться было легко по одной книжке, по Клюберу, из древней географии — также по Энциклопедии древностей Гофмана; из новой беспокоиться было нечего; экзаменовать должен был Ефремов, мой берлинский знакомец, который получил в это время звание приват-доцента географии при университете; оставались политическая экономия и статистика; я решился из этих предметов ограничиться старыми лекциями Чивилева и историей политической экономии Бланки, а между тем отправился к Чивелеву с целью представить ему, что мой магистерский экзамен не может быть обыкновенным экзаменом, что моя цель показать способность свою занять кафедру русской истории, для чего будет служить хорошая диссертация; а чтобы написать хорошую диссертацию, нужно употребить для нее все время, а не тратить его на предметы чуждые. Мне хотелось побудить Чивелева определить мне, из каких предметов именно он предложит мне вопросы. Но Чивилев встретил меня очень сухо, и когда я спросил, что мне нужно приготовить для экзамена, то он отвечал, что если я прочту все книги по политической экономии и статистике, которые он рекомендовал нам на лекциях, то этого будет достаточно. Я знал и без него, что так должно было сделать, но знал, что это невозможно, и потому не прибавил ничего к его лекциям по Бланки и продолжал по-прежнему употреблять большую часть дня на диссертацию.

Причина нелюбезности Чивилева, не хотевшего оказать ни малейшего внимания к моему положению, заключалась в том, что все профессора так называемой западной партии были против меня: они были очень рады, что избавились от Погодина, и, считая меня его клиентом, вовсе не хотели обуваться из сапогом в лапти, пускать к себе другого, молодого славянофила; а что я не был славянофилом, они этого не знали, потому что я ни к кому из них не ходил, а статья моя о

парижском университете, напечатанная в «Московитянине», была в славянофильском духе: я уже, кажется, говорил, что в университете и за границею я был действительно жаркий славянофил, и только пристальное занятие русской историей спасло меня от славянофильства и ввело мой патриотизм в должные пределы.

Итак, против меня готовилось сильное сопротивление; на кого же я мог опереться, в ком искать защиты против профессоров западной стороны, могущественных своим единством, достоинствами, силою? у попечителя? у славянофилов? — но и с ними я не был знаком, они меня вовсе не знали; притом в университете у них был один представитель — Шевырев, бессильный по одинокости и по неуважению начальства и товарищей.

XIII

В январе месяце 1845 года начались мои экзамены. Первый был из всеобщей истории. Перед началом экзамена, Грановский подошел ко мне с упреком, зачем я не приехал к нему и не переговорил насчет вопросов, и просил меня указать ему предметы, о которых я желаю получить вопросы. Я отвечал, что выбрал бы вопросы о реформации; на это Грановский заметил, что предмет — щекотливый, особенно неловко будет трактовать о нем в присутствии Строганова; тогда я отвечал, что если нельзя отвечать о реформации, которой я в недавнее время занимался, то пусть сам назначит вопросы, ибо мне все равно. Он мне назначил первый вопрос из истории Франции о первых Капетингах; второй — из истории Испании — позабыл уже, что именно; касательно же третьего, Грановский предложил вопрос о развитии русской и западной летописи; я заметил, что вопрос мне не нравился; но Грановский настаивал — и я согласился. Причина такого настаивания со стороны Грановского была та, что славянофилы, органом которых в это время был Шевырев, провозглашали, что русская летопись выше западной, ибо в последней выходит наружу личность летописца, тогда как в русской этого вовсе нет; поэтому западным очень хотелось знать, как я решу этот вопрос.

Моя начитанность в истории, особенно во французской, дала мне возможность, и не приготовившись, отвечать вполне удовлетворительно; Грановский не мог не признать этого, и в отметке написал, что я обнаружил обширную начитанность, но прибавил, что я затрудняюсь в изложении — намек, что у меня нет способности к занятию профессорской кафедры. Второй экзамен был из русской истории; положено было пригласить старого профессора Погодина; Погодин явился и, не сказавши мне ни слова, задал вопрос: — изложить историю отношений России к Польше с древнейших до последних времен. Я не хочу думать, чтоб вопрос этот был задан злонамеренно; гораздо вероятнее для меня, что вопрос такой был выбран просто по научной бестактности, которою отличался Погодин. Прежде всего, разумеется, я должен был ответить кратко, ибо говорить подробно — для этого не достало бы целого дня, не только вечера; но,

с другой стороны, я должен был показать свои знания в подробностях русской истории. Неприготовленный, не имея возможности, времени обдумать, как выйти из затруднительного положения, я начал бросаться в сторону, чтоб показывать свое знание собственно в русской истории, но Погодин не давал мне этого делать, сейчас же замечал, что я вдаюсь в ненужные подробности, не идущие прямо к делу; и таким образом я проболтал целый вечер, протягивая чрез девять веков отношения России к Польше. Да не забудется, что для сколько-нибудь удовлетворительного решения этого вопроса тогда не сделано было ничего, что для этого сделал я же вследствие почти двадцатилетних трудов по неизвестным архивным источникам. Погодин объявил что я отвечал удовлетворительно; но западники провозгласнили, — разумеется, не в заседании, — что вопрос и ответ были гимназические, а не магистерские, и из ответа моего вовсе нельзя заключить о моей способности к занятию профессорской кафедры: заключение совершенно справедливое! Третий экзамен, особенно экзамен из статистики, был совершенно неудачный: Чивилев предложил мне вопрос, которым подробно я именно не успел заняться перед этим — вопрос о русской товговле.

Эти неудачи мои заставили Погодина и Шевырева действовать решительнее для приведения в исполнение своих замыслов, т. е. для введения Погодина опять в университет. С самого приезда моего из-за границы, видясь с Погодиным, я замечал, что он сильно жалеет о своем выходе из университета, и сильно зол на университетское начальство, зачем оно не просило его остаться: «Вот и Шафарик пишет, зачем я так рано оставил университет; вон и Антонский говорит: Рано, рано в отставку!» — пел он мне по вечерам, когда я к нему приезжал. Когда я ему сказал, что уже начал писать диссертацию, именно об Иване III, то он мне сказал на это: «А почему бы вам не заняться окончательным решением вопроса о варягах?» Я отвечал, что считаю вопрос решенным, и нахожу более интереса в позднейших явлениях. Потом он мне однажды заметил: «Что же вы пишете диссертацию, и со мной об ней никогда не поговорите, не посоветуетесь?» Я отвечал: «Я не нахожу приличным советоваться, потому что хорошо ли, дурно ли напишу я диссертацию — она будет моя, а стану советоваться с вами и следовать вашим советам, то она не будет уже вполне моя.» — «Что же за беда!» — отвечал Погодин: —

«мы так и скажем, что диссертация написана под моим руководством.» Я ничего не отвечал на это, но всякий поймет, что затаилось в душе моей после этого разговора. Перед началом экзаменов я как-то зашел к Давыдову, как декану. Давыдов с нахмуренным лицом вдруг спросил меня: «Что же это значит? Михаил Петрович Погодин хочет опять войти в университет: ведь мы имеем вас в виду». Озадаченный этими словами, я отвечал, что ничего не знаю, что это — дело университета: как он решит, так и будет. Давыдов, по природе своей, заподозрил слова мои в неискренности, заподозрил, что у меня с Погодиным стачка, и так как он не любил Погодина по соперничеству в милостях Уварова, и как не любил всех, кто был покрупнее, был очень доволен выходом его из университета, то начал смотреть на меня как на Погодинского клиента, с которым вместе хочет войти и Погодин опять в университет. После неудачного экзамена я пришел к Строганову, не помню, сам ли, или он меня позвал. Он встретил меня жалобами на мой неудачный экзамен. Я рассказал ему прямо причины моей неудачи, прямо объявил, что, имея в виду кафедру русской истории, я счел нелепым, вместо того, чтоб спешить главным, диссертацией, которая должна показать мои права на кафедру пред всей ученой Россий, заниматься статистическими подробностями; что же касается до нелепого вопроса по русской истории, то, конечно, я в нем не виноват. «Экзамен прошел,» — продолжал я — «остается диссертация, которую я подам немедленно, — она решит все, а против интриг я действовать не умею.» — «Против каких интриг?» — возразил Строганов. «Считаю неприличным,» — отвечал я, — «распространяться теперь об этом; если ваше сиятельство еще ничего не знает, то скоро все узнаете: у меня есть соперник — кто — об этом я вам теперь не скажу.» Строганов, как видно, знал об интригах Погодина и Шевырева, и очень был рад услыхать от меня, что я смотрю на это дело, как на интригу, против меня направленную; из тона негодования, досады, с которыми я говорил ему об этом, он понял, что я в этой интриге участвовать не могу, не подставляю своих плеч, чтоб внести Погодина в университет. Строганов тотчас переменил тон, стал меня ободрять, повторял, что главное — диссертация, а не экзамен, и мы расстались очень хорошо.

Я, действительно, скоро, как мне помнится, в начале великого поста, подал диссертацию; Давыдов переслал ее к Погодину, у

которого она и оставалась в продолжение всего поста и после Святой недели. В это время я по-прежнему ни с кем не видался. В четверг на Страстной неделе пошел я гулять, и на Арбате встретился с Грановским и Кавелиным, которые шли куда-то вместе. Грановский с насмешливой улыбкой спросил у меня: «Что же ваша диссертация?» — «Давно подана,» — отвечал я, удивленный таким вопросом от секретаря факультета, которым был тогда Грановский. «Как подана?» — возразил Грановский, не изменяя насмешливой улыбки: — «Никто в факультете об ней не знает.» Я отвечал, что Давыдов обещал отправить ее к Погодину. «А! это дело другое,» — сказал Грановский, и мы с ним расстались.

Не помню, на какой неделе после Пасхи я отправился к Погодину и решился сказать ему, чтоб он возвратил, наконец, диссертацию. На эту просьбу мою Погодин отвечал такою речью: «Я долго думал, как объявить вам мое мнение о вашей диссертации, ибо я чувствую, как тяжело должно быть для вас на первый раз при первом опыте выслушать отзыв нелестный: диссертация ваша, как магистерская диссертация, очень хороша, но как профессорская — вполне неудовлетворительна; приступ блестящий, правда, есть новое, чем я и сам воспользуюсь, но в изложении нет перспективы, точно так, как в сочинениях Беляева; повторяю: труд прекрасный, как магистерская диссертация, но как профессорская — не годится.» — «Михайло Петрович,» — отвечал я, — «о профессорской диссертации тут и речи быть не может; моя цель — кончить поскорей с магистерством и ехать в Петербург, искать места. Если вы находите, что диссертация, как магистерская, удовлетворительна, то сделайте одолжение, напишите это, чтоб после факультет вас уже более не беспокоил.» Погодин стал отнекиваться, говорил, что подпишет просто — читал; но дело было для меня слишком важно, и видел я очень ясно, с каким человеком имею дело, а потому я настаивал: «Если вы говорите прямо, что диссертация удовлетворительна, то почему вы не хотите этого написать?» Погодин уступил и написал на диссертации: «Читал и одобряю.» Чувство радости, что выручил наконец диссертацию, боролось во мне с чувством негодования, когда я вырвался от Погодина и шел по Девичьему Полю домой (жил я тогда по-прежнему у отца на Стоженке, в коммерческом училище). Но гораздо более должно было удивляться глупости этого человека, который не умел

скрыть своей мысли, своего желания: «Диссертация, как магистерская, хороша, а как профессорская — не годится»; это значило уже слишком ясно: «магистром-то ты будь, пожалуй, а профессором-то погоди, — я хочу сам быть на этом месте; а ты, если пойдешь ко мне в мальчики, то будешь адъюнктом.» Повторять в мыслях последнее я имел право: прежде как-то зашел у нас разговор с Погодиным об адъюнктстве, и он прямо высказал мне, что под этим разумеет: «Вот, если бы я был опять профессором, а вы у меня — адъюнктом, то мы бы устроили так: когда бы мне не поздоровилось или так почему-нибудь я не был бы расположен читать, то я бы дал вам знать, о чем следует читать, и вы бы эту лекцию прочли за меня.» Зная характер Погодина, его громадное высокомерие, властолюбие и отсутствие деликатности в обращении с низшими, зависимыми людьми, я видел, какое страшное рабство предстояло мне, и, разумеется, никак не мог согласиться на подобные отношения.

На другой день поутру я отвез диссертацию опять к Давыдову, который передал ее Грановскому. Грановский, не считая себя судьею в деле, передал ее Кавелину, чтобы тот сказал о ней свое мнение. Кавелин прочел и, по впечатлительности своей, восплясал от радости, найдя в ней совершенно противное славянофильскому образу мыслей. Он объявил Грановскому и всем своим то, что после объявил печатно в «Отечественных Записках», а именно то, что диссертация моя составляет эпоху в науке, вследствие чего вся западная партия обратилась ко мне с распростертыми объятиями. Когда я приехал к Грановскому за диссертацией, то он встретил меня комплиментами и прямо объявил, что свое суждение основывает на суждении Кавелина. «Ну, а что Погодин говорит о диссертации?» — спросил меня Грановский. Я передал ему знаменитые слова об отношении диссертации к магистерству и профессорству.

Но если был рад я такому обороту дела, то чуть ли не больше был рад ему Строганов; с восторгом слушал он похвалы моему труду от тех людей, которые прежде отзывались обо мне не очень привлекательно. Еще приятнее было слышать ему, что диссертация моя не славянофильская и даже антиславянофильская, что Погодин интриговал, что можно дать щелчок этому антипатичному господину и заменить его в университете человеком достойным. Когда я пришел к нему, то он сказал, чтоб я готовился к лекциям, что я, разумеется, не

преминул исполнить. Но при таком приятном виде на будущее, которое мне открывалось, отношения к Погодину меня страшно тяготили: я еще не успел на него тогда озлиться; успех дела, приятное чувство, которое наполняло мою душу, выгоняло из нее злость; я не считал себя вправе вдруг порвать все сношения с человеком за то только, что он объявил мою диссертацию недостойной профессорской кафедры. Но если не порвать, то тяжело с ним видеться: дело было ясно, что он хотел сам получить обратно кафедру, но что Строганов и западные противопоставляют меня ему, что я делаюсь орудием в руках его врагов, или, по крайней мере, он должен смотреть на меня так. Чтоб выйти, по крайней мере на время, из такого неприятного положения, я решился действовать прямо и открыто: пошел к Погодину и сказал ему, что я знаю, что он хочет занять опять кафедру русской истории, но что Строганов велел мне приготовляться к лекциям, и потому пусть он, Погодин, принимает свои меры. Погодин отвечал мне: «Не знаю, чего хочет Строганов? Хочет ли он, чтоб вы были при мне адъюнктом, или при ком-нибудь другом? Слышал я, что он думал о переводе сюда Иванова из Казани; может быть, он хочет, чтобы вы при Иванове были адъюнктом.» Это была новая гадость со стороны Погодина, которому хотелось колоть меня тем, что, во всяком случае, с ним ли, с другим ли, но я могу быть только адъюнктом. Вообще, свидание было очень сухо; я видел ясно, что моя открытость не помогла, что добром не кончить с этим человеком. Зашел я к нему еще раз — прием еще суше. Между тем, июль месяц подходил к концу: 29 июля, в пятницу, Давыдов собрал факультет и объявил, что в нем находятся две вакантные кафедры, кафедра философии и кафедра русской истории, и что попечитель предлагает двоих кандидатов: для первой — Каткова, а для второй — Соловьева; как думает факультет об этих лицах? Относительно Каткова выбор был единогласен; но когда дело дошло до меня, то Шевырев объявил, что странно будет факультету выбирать на такую важную кафедру молодого, ничем неизвестного человека, когда знаменитый ученый М. П. Погодин, чувствуя, что его здоровье поправилось, желает опять занять прежнюю кафедру. Начался спор; все остальные члены факультета были за меня, и наконец порешили на том, что меня выбрать, а декану Давыдову поручить снестись с Погодиным, на каких условиях он хочет опять читать в университете. Давыдов, которому так не хотелось впустить Погодина опять в

университет, опираясь на несогласие попечителя и факультета, предложил Погодину, что он может читать в университете без всякого вознаграждения и без всякого оффициального значения, как приват-доцент, — для желающих. Погодин отвечал на это предложение грубым письмом в факультет, и тем дело кончилось.

В сентябре 1845 года я начал лекции. Читал я по три часа на третьем курсе словесного факультета и еще три часа на первом курсе юридического, повторяя те же самые лекции. Первые две лекции, заключавшие в себе обзор всей русской истории, произвели благоприятное впечатление. Грановский, пользовавшийся большим авторитетом, сказал: «Мы все вступили на кафедры учениками, а Соловьев вступил уже мастером своей науки». Понятно, какое значение имели для меня на первых порах эти слова; ими Грановский привязал меня к себе навсегда, на всю жизнь счел я себя ему обязанным. Строганов, слыша одобрения, сказал: «Дай Бог, чтоб Погодин кончил так, как этот начал». В октябре был мой диспут. Приехал Погодин и учинил неслыханное дело: предложивши возражения, он объявил, что ответов моих на свои возражения он не хочет и не обратит на них никакого внимания, что он приехал не затем, чтоб спорить со мной, а только изложить свое мнение насчет диссертации: приступ блестящий, но главное положение о новом порядке вещей на севере вследствие преобладания новых городов над старыми — неверно. Давыдов, обратясь ко мне, сказал, что хотя Михаил Петрович и не хочет слушать моих ответов, но, по порядку, заведенному на диспутах, я должен защищаться, и я начал опровергать возражение Погодина, что было мне очень неудобно, ибо возражение это было предложено голословно; говоря, я обращался не к Погодину, но ко всем присутствующим. Потом возражали: Грановский, Бодянский, Кавелин, Калачов, Давыдов, Шевырев. Грановский возразил не помню что, что-то пустое, ибо он, несчастный, вовсе не зная русской истории, обязан был возражать как оффициальный оппонент. Бодянский, чтоб насолить Погодину, с которым он перед тем поругался, превознес мою диссертацию до небес; Кавелин заметил что-то насчет судебного значения веча; что возражал Калачов — я не понял: это уже мое несчастие — никогда не понимать Калачова; Давыдов спросил, зачем я не распространился о значении владыки в Новгороде? Шевырев — зачем я не упомянул о Карамзине, ибо сей

великий историк, как выразился ритор, усеял свою историю плодотворными мыслями, которые нам стоит только подбирать и развивать. Наконец, диспут кончился со славою для меня.

В академический год 1845–1846 я успел прочесть только до смерти Ивана Грозного; из этих лекций я составил другую докторскую диссертацию под названием: «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», которую на вакации 1846 года приготовил к печати. Между тем, первая диссертация о Новгороде доставила мне ученую известность, оправдала выбор университета; Кавелин в «Отечественных Записках» объявил, что она составляет эпоху в русской исторической литературе. Были недовольные моим успехом, но еще молчали; молчал Погодин печатно, но действовал министр Уваров: ему досадно было, что его клиент Погодин обойден, и Строганов поместил своего, да что еще хуже — порядочного человека, который делает честь его выбору. Мелкодушие Уварова обнаружилось тотчас же: по окончании моего диспута, Строганов представил меня и Каткова в адъюнкты, как магистров: Уваров утвердил Каткова адъюнктом, а меня — исправляющим должность адъюнкта, ибо Катков не был Строгановский, подобно мне, и вступал в университет, не отстраняя никого Уваровского. Мне было очень досадно; так же досадно, как неполучение первого кандидатства; это была первая неудача по службе, начало держания меня в черном теле, непризнание моих трудов, что преследует меня до сих пор. Но, «Господи; Ты сохраниши мя и соблюдеши от рода сего и до век!» В моей досаде я много утешился; когда, вследствие утверждения моего, в декабре месяце я получил жалованье за четыре месяца с начала курса, — первое жалованье, и как оно было мне нужно! Из-за границы я привез с собою несколько денег, которые употребил на заведение маленькой, необходимой для меня библиотеки по русской истории; но надобно было жить целый год без жалованья; я взял один урок, только один, чтоб не развлекаться; но к осени, именно, когда нужно было начинать лекции, печатать диссертацию, шить мундирный фрак, денег у меня не было, ибо урок прекратился вступлением моего воспитанника в университет. Я принужден был идти к Строганову и занять у него 300 рублей ассигнациями, на что и была напечатана диссертация. Строганов, увидев из этого, что я нуждаюсь, предложил мне давать уроки из русской истории его сыну, приготовлявшемуся в университет.

Этим я жил до декабря, то есть, на это я покупал книги, имея квартиру и стол даром у отца; получение жалованья в декабре особенно обрадовало меня, потому что я мог отдать долг Строганову.

В конце года (1845) я отправился к Погодину, у которого не был с сентября, когда отвез ему два экземпляра моей диссертации. И самому мне было тяжело ехать к нему после поступка его на диспуте, да и ему хотел я дать время уходиться. Приехал, был принят ласково, сидел довольно долго; потом приехал в другой раз, был принят почти так же; в это самое время принесли ему с почты пакет, заключавший его похвальное слово Карамзину, допущенное наконец, после долгого рассматривания и вычеркивания в Петербурге, к печати. Погодин очень обрадовался и вдруг обратился ко мне с такими словами: «Ну, теперь сердце мое полно, и я пользуюсь случаем объясниться с вами. Ваши два приезда ко мне произвели на меня приятное впечатление; я подумал: молодой человек еще не огрубел, но, скажите, разве хорошо вы со мною поступили?» — «Вы прежде скажите мне, что дурного сделал я в отношении к вам?» — отвечал я, и думал, что он войдет в объяснения относительно своего отстранения от кафедры; но какие же обвинения я вдруг услышал: «Вы мне привезли экземпляр своей диссертации без всякой надписи, тогда как я видел, что другим вы надписали, — какому-нибудь Ефремову, и тому надписали». — «Но видели ли вы экземпляры моей диссертации у членов факультета?» — спросил я, — «ни у одного из них вы не найдете с надписью, ибо надписывать я имел право только тем, кому дарил, кому мог и не дать, тогда как лицам оффициальным, каковы члены факультета, я обязан был дать экземпляр; они получили экземпляры, так сказать, казенные, а не от меня в дар; вас я причисляю также к лицам оффициальным, ибо вы были экзаменатором; но скажу прямо: конечно, вы получили бы экземпляр с надписью очень для вас лестною, если бы не так поступили со мной, если бы черная кошка между нас не пробежала». — «А это хорошо с вашей стороны», — продолжал Погодин, — «начать первую лекцию и не сказать ни слова обо мне, вашем предшественнике?» — «Решительно в голову не пришло», отвечал я. Действительно, в голову не пришло, а если бы пришло, то я очутился бы в крайнем затруднении: что я мог сказать хорошего о Погодине как о профессоре? Такие пустяки выставил против меня Погодин; относительно же первого дела, именно столкновения по

кафедре, он не вдавался в подробности, сказал только: «Отец у вас священник: он должен был бы показать вам, как дурно вы со мною поступили». — «О, что касается до моего отца», — отвечал я, — «то, конечно, он сердился на вас гораздо больше, чем я сам: старик дождался единственного сына из-за границы, открылась возможность, чтоб этот сын остался при нем в Москве, на почетном и обеспечивающем месте, и вдруг он слышит — вы, старый и не нуждающийся больше ни в каком месте человек, перебиваете место у его сына!?» Покричавши таким образом несколько времени, мы расстались, впрочем, без горечи, и я продолжал иногда бывать у него.

Летом я нанял дачу в Давыдкове, чтоб быть поближе к Кунцеву, где жил Строганов, сыну которого я продолжал давать уроки. Лето провел я тихо, хорошо; обрабатывал окончательно докторскую диссертацию, будущее улыбалось, но в конце дачной жизни, в августе, неприятно поразила меня знаменитая Крыловская история.

XIV

Я упоминал о Крылове. Это был человек с большими способностями, с головою необыкновенно светлою, с блистательным даром изложения, художественного, пластичного, с оригинальностью, странностью в речи, которая нисколько не вредила, однако, благоприятному впечатлению, ею производимому. Но Крылов служил ясным доказательством тому, как мало значат, как бесплодны умственные способности без основы нравственной. Это был человек чистый от всяких убеждений, нравственных и научных, ибо способность иметь последние показывает также нравственные требования в человеке, вступившем в ученое сословие. Как человеку с блестящими способностями — школьная наука, разумеется, далась ему; как отличный ученик духовной академии, он был отправлен к Сперанскому во II-е отделение, потом за границу, помещен профессором в Москву совершенно без спроса о внутреннем призвании; да если б спрос и был сделан, то ответа не последовало бы, ибо ни к чему призвания не было. Крылов был сделан профессором римского права, очаровал слушателей блестящим изложением писанного разума, но, не имея никакого влечения к науке, он за нею не следил, чем объясняются те грубые ошибки, которые он позволил себе позже, в 1857 г., когда ученая Немезида устремила его на литературное поприще. Странно было слушать этого человека: какая-то великолепная логическая машина, мысль с мыслью цепляются, излагаются в блестящей форме, но жизни, духа, внутренней, теплой связи нет, — цепляются мысли друг с другом чисто внешним образом; впечатление, производимое разговаривающим Крыловым, было совершенно тождественно с впечатлением, производимым музыкальной машиной, разыгрывающей произведения великих мастеров; хорошо, а жизни нет; неодушевленные существа играют. Но, разумеется, подметить скоро этот характер речи Крылова было нелегко, и потому Крылов очаровал своих товарищей, которые вместе с ним поместились в московском университете, очаровал Строганова. Когда я приехал в университет и определился в нем, Крылов был деканом юридического факультета, слыл за самого умного,

распорядительного профессора, был вместе с Грановским столпом западной партии в университете, особенно по смерти Крюкова, последовавшей весной 1845 года. Не имея никакой нравственной основы, Крылов, разумеется, способен был на всякое безнравственное дело. Так, сделавшись деканом, пользуясь огромным авторитетом, Крылов начал брать взятки, о чем понесся слух по Москве; приятели его, члены одного кружка, были так пристрастны, что не поверили или притворились неповерившими. Так, когда я приехал в Москву из-за границы и свиделся с госпожой Благовой, у которой я прежде учил сына и, по приезде, стал доканчивать приготовление его в университет, то она прямо сказала мне, что для беспрепятственного помещения ее сына в студенты надобно дать взятку, именно, декану Крылову; я начал возражать ей с сердцем, что этого быть не может в университете, но она отвечала мне, что дело слишком хорошо известно. Вступивши в университет, я пришел как-то к Грановскому, посоветоваться с ним о разных делах. Грановский сказал мне: «Я бы посоветовал вам съездить к Крылову» — «Тимофей Николаевич», — отвечал я, — о нем идут дурные слухи: говорят, что он взяточник. — «Это вздор», сказал мне Грановский, и я обрадовался этому возражению, и поехал к Крылову, и ездил к нему в продолжение зимы довольно часто; кажется, по средам каждую неделю, у него бывали вечера, на которых было довольно весело. Крылов, года два перед тем, женился на прехорошенькой женщине, одной из многих девиц Корш. Семейство это было еврейского происхождения, что сильно отражалось в чертах лица мужчин и женщин; на младшей сестре женился Кавелин, на третьей ловили меня, но на мое счастье эта третья была хуже всех сестер, глупа, с претензиями и заика, — очаровать, следовательно, меня было нечем. Из многих братьев этих многих сестриц Корш самый замечательный был Евгений: редактор «Московских Ведомостей» в описываемое время, человек необыкновенно остроумный, с громадной начитанностью, пресимпатичная натура, хотя ленивая, черезчур мягкая, как улитка, скрывающаяся в свою раковину при всяком столкновении, требующем хотя сколько-нибудь энергии, твердости; он был приятель Грановскому, один из самых видных членов в западном кружке. И вот Крылов женился на его сестре; между Вулканом и Венерой, конечно, не было большей противоположности, чем у Крылова с его супругой: она, как я уже сказал, прехорошенькая, даже

красавица, с глазами восхитительными, он — маленький человек, с самыми неприятными, отталкивающими чертами лица, с глазами, обыкновенно имеющими какое-то ядовитое, хищное выражение. Но одно наружное безобразие — это бы еще ничего, иногда женщины не обращают на него внимания; но Крылов, опять вследствие отсутствия всякого нравственного начала, несмотря на свой ум и на то гуманное общество, в котором находился, не умел стереть с себя несколько деревенской и семинарской грязи, являлся олицетворенной грубостью, грязью, особенно там, где ему не нужно было себя сдерживать внешними отношениями, т. е. дома, когда он был в халате, — внутреннего же стыда перед женою, как перед женщиною, он не знал, ласки его были возмутительны, а когда он был не в духе, то цинизм в присутсвии жены доходил до невообразимой степени, — он не удерживался от площадной брани, от самых неделикатных упреков. Молодая женщина долго терпела; наконец, в августе 1846 года, на даче в Ивановке произошла сцена, которая переполнила чашу: при содействии младшего брата своего, студента Валентина Корша, она бежала от мужа к сестре своей, Кавелиной, и объявила родственникам и приятелям о поведении Крылова относительно ее, представила несомненные доказательства его взяточничества. Кавелин, Корш, Грановский, Редкин и весь западный кружок вооружились и объявили, что если Крылов останется в университете, то они выйдут из службы, ибо со взяточником, позорящим профессорское звание, они служить не хотят.

Попечителя Строганова в это время не было в Москве; приехавши в Москву и узнавши дело, он сильно рассердился: скандал в московском университете, гадкая история между людьми, которых он уважал, которыми он гордился, хвастался, торжество ненавидимых славянофилов, которые возликовали от скандала между западниками, — все это его очень раздосадовало, и он прежде всего высказал свою досаду против Кавелина с товарищами, приписывая им, по крайней мере, необдуманность, ребячество, ибо самолюбие заставляло его сначала не верить тому, что они говорили против Крылова, которого он облек полной своей доверенностью. Но потом, благодаря особенно помощнику своему Голохвастову, который знал все очень хорошо, он убедился в справедливости обвинений на Крылова во взяточничестве, и повернулся к нему спиною; но все это дело

продолжалось целый год, до самого выхода Строганова в ноябре 1847 года. Что же делал в это время Крылов? Он выказал всю мелочность и грязность своей души: сначала был ошеломлен, впал в отчаяние, перестал ходить на лекции; потом начал подличать, доносить на своих товарищей, что они безбожники, развратники и прочее, рассказывать то же самое про свою жену и ее братьев; ездил с этими доносами к Филарету, перекинулся к Погодину, притворился православным русским человеком; здесь уже было положено начало его славянофильству, т. е. сближению с славянофилами, хотя в это время он сблизился собственно только с Погодиным, ибо другие славянофилы, ходившие тогда еще в белых перчатках, отворачивались от него вследствие обвинений во взяточничестве; тут же повернул к востоку и Лешков. Лешков, воспитанник педагогического института и посланный за границу, назначен был в московский университет по кафедре народного права и приехал позднее, чем первая партия заграничных, т. е. Крылов, Редкин, Крюков и другие. Это был человек трудолюбивый, но бездарный и тупой. Он прицепился к кругу заграничников, западников, отдался в услужение Крылову, который за верную службу стал двигать его вперед, смеясь, впрочем, в глаза и за глаза над его тупоумием; он, благодаря могуществу своей партии и Строганову, очень скоро выдвинул его в ординарные профессоры, с нарушением права других. Лешков остался ему за это благодарен, и когда случилась описанная история, то он один из профессоров юридического факультета принял явно его сторону; из других факультетов сторону Крылова взяли: из математического Спасский, из медицинского — Иноземцев, Варвинский, Глебов, все, кроме последнего, люди ограниченные; хотя Иноземцев и Варвинский, не знаю как, были звездами величины на медицинском небе.

Так ознаменовался 1846–1847 академический год для университета распадением западной партии профессоров. Мне и Чивилеву, с которым я в это время очень сблизился, было это крайне неприятно. До сих пор западная партия в университете, т. е. партия профессоров, получивших воспитание в западных университетах, была господствующей. Партия была обширна, в ней было много оттенков, поэтому в ней было широко и привольно; я, Чивилев, Грановский, Кавелин — принадлежали к одной партии, несмотря на то, что между нами была большая разница: я, например, был человек

религиозный, с христианскими убеждениями; Грановский остановился в раздумьи относительно религиозного вопроса; Чивилев был очень осторожен, — только после я узнал, что он не верил ни во что; Кавелин — также, и не скрывал этого; по политическим убеждениям Грановский был очень близок ко мне, т. е. очень умерен, так что приятели менее умеренные называли его приверженцем прусской ученой монархии; Кавелин же, как человек страшно увлекающийся, не робел ни перед какою крайностью в социальных преобразованиях, ни перед самым даже коммунизмом, подобно приятелю их общему, знаменитому Герцену. С последним я не был знаком по домам, но видался с ним у Грановского и в других собраниях; я любил его слушать, ибо остроумие у этого человека было блестящее и неистощимое; но меня постоянно отталкивала от него эта резкость в высказывании собственных убеждений, неделикатность относительно чужих убеждений; так, например, он очень хорошо знал о моих религиозно-христианских убеждениях и, несмотря на то, не только не удерживался при мне от кощунств, но иногда и прямо обращался с ними ко мне; нетерпимость была страшная в этом человеке. Противоположность в этом отношении представлял Грановский, в высшей степени деликатный относительно религиозных убеждений: он не только никогда не отзывался резко при мне о христианстве, но, оставаясь со мною наедине, особенно впоследствии, любил заводить со мною разговоры о христианстве, высказывая к нему самую сильную симпатию, проговаривался о зависти, которую чувствовал к людям верующим. Кавелин также не церемонился со мною относительно выходок против религии; но у Кавелина это меня не оскорбляло по короткости наших отношений; мы с ним спорили в потасовку и потом упивались развитием наших сходных научных взглядов. Таким образом, в так называемой западной профессорской партии было много оттенков, но эти оттенки уживались в ней мирно, единство преобладало, все стояли друг за друга горой. Но после Крыловской истории отношения переменились; вражда, нарушив единство, вывела наружу оттенки, резко определила их внутри и вне. Если, как я уже сказал, Кавелин, Грановский, Редкин, Корш называли Крылова взяточником, то Крылов с товарищами не щадил для них названий безбожников, коммунистов. Наше положение было крайне затруднительное.

Между тем, в конце 1846 года, я сблизился с славянофилами. Я уже упоминал, что во время моего студенчества и в первый год пребывания за границей я был жарким славянофилом; но потом все больше и больше занятия историей, и особенно русской, дали мне возможность приобрести правильный взгляд на отношения между древней и новой Россией; благодаря науке и умеренности моего характера, я не увлекся: признав необходимость Петровского периода, признав его законность, правильность истечения его из предшествовавших условий русского общества, я сохранил от прежних моих любимых занятий древней русской историей, от прежнего славянофильства, всю теплую симпатию к древней Руси, к ее лучшим людям. Эта теплота высказывалась в моих лекциях, в моих статьях, чего славянофилы не могли не заметить, особенно в противоположность с выходками Кавелина и других западников против древней России. По приезде моем из-за границы, я видался с тремя славянофилами — Александром Поповым, Пановым и Валуевым. С первым, как уже было сказано, я познакомился в Берлине, потом встречался в Мюнхене и Париже. По возвращении, я нашел его в Москве в одинаковом со мною положении, т. е. добивающимся кафедры в московском университете по юридическому факультету. Это был человек с большими способностями, преимущественно на словах, бойкий, смелый, иногда дерзкий говорун, мало способный к труду; отсюда, блестящий на словах, он оказывался чрезвычайно слабым на деле: слушая его, всякий должен был сказать: какие блестящие способности у этого человека! А прочтя его статью, всякий должен был пожать плечами. Юридический факультет, сплошно составленный тогда из западников, никак не хотел пускать к себе Попова — и имел на то полное основание, хотя славянофилы и провозглашали, что это — великий философ. По выслушании его пробной лекции, факультет объявил, что лекция слаба; Попов напечатал ее в «Москвитянине»; критика согласилась с факультетом. Тогда Хомяков через Веневитинова рекомендовал его Блудову, который и поместил его во II-м отделении собственной Е. И. В. канцелярии. И здесь Попов оказался таким же, каким был известен и в Москве.

Панов был совершенная противоположность Попову. Это был человек умный, распорядительный, нисколько не даровитый, до крайности неказистый, вялый, насилу вытаскивающий слова изо рта,

но святой человек: окруженный самолюбцами, он отличался отсутствием самолюбия, скромностью необыкновенной, но где приходилось работать, работал за всех.

Валуева я знал еще во время студенчества: он был курсом старше меня: живой, красивенький мальчик, без устали бегавший по лекциям не только своего, но и юридического факультета, нахватывающий отовсюду знаний, с подозрительным румянцем на щеках; потом я встретился с ним мельком в Париже; когда же я возвратился в Москву, то чахотка уже разрушала его; несмотря на то, он работал над изданием памятников древней русской истории и особенно над разработкой местничества; плодом этого труда был «Симбирский Сборник»; вскоре отправили его вторично за границу, но он в Новгороде умер. Валуев и Панов (который также скоро умер в 1849 или 1850-м году) были лучшие из славянофилов в нравственном отношении. Обращусь к другим, которые остались жить и действовать. Хомяков — низенький, сутуловатый, черный человек, с длинными черными косматыми волосами, с цыганской физиономией; с дарованиями блестящими, самоучка, способный говорить без умолку с утра до вечера и в споре не робевший ни перед какой уверткой, ни перед какой ложью: выдумать факт, процитировать место писателя, которого никогда не бывало — Хомяков и на это был готов; скалозуб прежде всего по природе, он готов был всегда подшутить над собственными убеждениями, над убеждениями приятелей. Понятно, что в нашем зеленом обществе, не имевшем средств оценить истинного знания, добросовестности и скромности, с последним неразлучных, Хомяков прослыл гением; это вздуло его самолюбие, сделало раздражительным, неуступчивым, завистливым, злым. После Хомякова самое видное место в славянофильском кружке занимали Аксаковы. Старик Сергей Тимофеевич — в молодости театрал, игрок, клубист, легонький литератор, переводчик, стихоплет; в старости, когда я с ним познакомился, человек больной, никуда уже не выезжавший, умный, практический, хитрый, с убеждениями ультра-западными, чего при случае и не скрывал, а между тем очень легко прилаживался к славянофильскому кружку, где ему было очищено почетное место, первый готовый подтрунить над сыновьями, над их славянофильством, и в то же время считавший славянофильство своим родным фамильным делом, делом священным и неприкосновенным.

Жена его, Ольга Семеновна, старуха добрая до тех пор, пока дело не шло о ее сыновьях, о их мнениях, о их кружке: но если бы кто вздумал задеть их, Ольга Семеновна превращалась в фурию, и только окрик мужа, наследника «Багровщины», заставлял ее умерять свои неуместные порывы. Старший сын этой четы, Константин, достойный прозвища Багрова, человек, могущий играть большую роль при народных движениях и в гостиных зеленого русского общества, со львиной физиономией, силач, горлан, открытый, добродушный, не без дарований, но тупоумный; последнее можно было бы легко сносить за открытость, добродушие, наивность, но что делало его нестерпимым, так это крайнее самолюбие и упорство во мнениях, для поддержания которых он средств не разбирал. В Хомякове эта неразборчивость смягчалась шутливостью, которая мешала противнику его раздражаться; но спорить с Аксаковым было глупо и вредно для здоровья; правда, Аксаков не позволял себе выдумывать фактов, но зато никакая самая чудовищная натяжка его не останавливала, и это, разумеется, раздражало гораздо больше, чем всякая выдумка, ибо против последней легкое средство — сказать и доказать, что нет ничего подобного, но против способности перевернуть всякое слово и событие в свою пользу — где средство? К. Аксаков когда-то хорошо учился в московском университете, когда именно нечему было в нем учиться, и ученик, т. е. студент, кончил курс университетский лет шестнадцати; он считал себя знатоком русской истории, потому что прочел Румянцевское собрание грамот и несколько томов изданий Археографической Комиссии; для подкрепления своих любимых мыслей он брал наскоком в древней русской истории несколько явлений, но у него никогда не доставало ни времени, ни духу проследить русскую историю хотя бы и не по источникам; Карамзина он не читал, из моей истории прочел первый том, когда писал свою статью против родового быта, а потом начал читать с VI-го тома, когда в славянском совете ему поручено было написать разбор моей истории для «Русской Беседы»: это он мне сам сказал откровенно; о новой русской истории с XVIII-го века не имел никакого понятия, об истории западных и славянских народов — также. Считал он себя и филологом, но филологи отзывались об его знаниях очень неудовлетворительно. Что же делал этот человек всю свою жизнь? Летом в деревне сидел у пруда с удочкой; зимой в Москве с утра до вечера разъезжал по гостям

или принимал у себя гостей: Аксаков жил очень открыто, хлебосольно, всегда можно было у них застать кого-нибудь, всегда кто-нибудь обедал. Второй сын Аксаковых, Григорий, служил в губернии, не был ничем замечателен; третий, Иван, воспитанник училища правоведения — человек с поэтическим дарованием, умнее брата, но никак не ученее. Сначала могло казаться, что из него будет путь, что он успеет избежать крайностей своей партии. Но он скоро бросил службу, и отсутствие крепкого научного образования, с одной стороны, и практической деятельности, с другой, выставили и его на жертву этим крайностям.

Товарищ К. Аксакова по университету и приятель его, Юрий Самарин, человек замечательно умный, но холодный, несимпатичный господин, сделался сначала славянофилом, по недостатку ученого образования, особенно в истории, потом укрепился в славянофильстве по самолюбию; он имел на это некоторое право: в начале службы своей у лифляндского г. — губернатора Суворова он перенес свои убеждения на практическую почву, стал держать оппозицию Суворову за преданность последнего немецким интересам, написал и распустил против Суворова письмо, за что был посажен в крепость, потом послан в Киев на службу и тут кончил свое служебное поприще; понятно, что он озлобился, и, когда после другие члены его кружка освежались надеждою на лучшее будущее, Самарин оставался пессимистом. Наконец, в славянофильском кружке изредка появлялись два человека, которые считались также коновадами: это два брата Киреевские — Петр и Иван. Петр — доброе, кроткое, симпатичное существо — напоминал мне добродушных чешских властенцев: он был очень трудолюбив, много читал, но не был даровит, не был умен, не имел никакого характера; нравственная слабость, неспособность двинуться, сделать что-нибудь, — порок, которым страдали все эти люди вообще, — в Петре Киреевском доходил до неимоверных размеров; вобрать в себя, начитаться, наслушаться, наглядеться — это было его дело; но самому что-нибудь написать, сделать — для этого нужны были усилия необычайные.

Брат его, Иван Киреевский — человек даровитый, крайний западник вначале, потом круто повернувший в противную сторону, вследствие перемены религиозных убеждений. Его славянофильство ограничивалось сферой философской и религиозной. Как прозелит

относительно христианских убеждений, он враждебно стал смотреть на нерелигиозное движение мысли в просвещенном человечестве, вывел, что такое движение коренится в свойстве западных народов, в их церковных условиях, и что соглашение мысли с чувством должно произойти у народов, к восточной церкви принадлежащих; как это должно произойти, этого уяснить для себя он не мог, и потому должен был ограничиться одной скудной отрицательной деятельностью, вооружаться против западной философии, толковать о возможности православной философии.

К этим — не скажу мыслителям, но мечтателям, поэтам и дилетантам науки, из которых по большей части слагался славянофильский кружок, — присоединялся человек с противоположной натурой, человек практический, мастер обсуживать предметы осязательные, но становившийся совершенным дураком, когда предмет поднимался в высшую сферу: то был К-в. К-в благую часть избрав мирском, земном смысле: отказался от служебного движения, от служебных почестей, чтобы приобрести состояние, и приобрел большое посредством откупов и еще кое-каких сделок, как говорят, вовсе нечистых; рассказывали, что в одну непрекрасную ночь он подбегал беспрестанно к зеркалу, чтоб смотреть, не поседел ли он от мучительного беспокойства, ибо дела по откупам пошли так дурно, что грозило разоренье круглое; наконец, он решился на дело нечистое, на смешение воды с вином, что ли, и этим спас себя; рассказывали также, что он выгодно купил большое имение, подкупивши управителя, который доносил барину, что имение никуда не годится, что его следует продать, хотя и за бесценок. Разумеется, все это рассказывалось не в славянофильском кружке. Наживши большое состояние, надворный советник К-в, полный еще сил, мужик и горлан, захотел играть роль передового человека в обществе; он бросился в оппозицию, примкнул к славянофилам и стал для них чрезвычайно полезен денежными средствами. Обращение его в славянофилы происходило постепенно на моих глазах. Сначала он хотел играть роль примирителя, срединного человека, приглашал к себе на богатые обеды и ужины людей из обеих партий — Грановского и Аксакова — и рассаживал их по концам стола, сам садился по средине и подле себя сажал меня и других средних, умеренных, к которым думал принадлежать; но недолго продержался он на середине и хватил в

самую сильную крайность, — начал строго соблюдать посты, с одной стороны, с другой отрастил бороду и надел армяк, нарядил в какой-то шутовской, будто бы старинный русский, костюм и жену свою.

1877

---

notes

Примечания

1

(Лазарев — попечитель Лазаревского армянского института, где Давыдов был инспектором.)

2

Greek characters